



Борис Тимофеевич Евсеев Красный рок (сборник)

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=658935
Красный рок: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-50874-7*

Аннотация

Новая повесть дважды финалиста премии «Большая книга», одного из самых одаренных писателей современности Бориса Евсеева «Красный рок» – это острополитическая фантасмагория. История подхорунжего Ходинина, который при Московском Кремле заведует специальной школой птиц. Дрессирует соколов, ястребов, канюков и других пернатых хищников, чтобы они санировали воздушное пространство над главным объектом страны, убивая назойливых галок, воробьев и ворон.

Ходинин – суровый, замкнутый и очень привлекательный мужчина в возрасте, ведет уединенный образ жизни. Общась преимущественно со своими птицами, пренебрегая компанией людей. Птицы его любят и слушаются, а внешний мир – за стенами Кремля – пугает и настораживает. И не зря...

Евсеев несколькими штрихами в очень небольшом пространстве романа создал метафору современной России, жесткую и яркую. Забыть прочитанное невозможно, потому что история любого государства – это в первую очередь история людей. И лишь во вторую очередь – история событий.

В книгу также вошли две повести Евсеева – «Юрод» и «Черногор».

Содержание

Красный рок	4
1	4
2	5
3	6
4	8
5	9
6	11
7	13
8	15
9	16
10	19
11	22
12	24
13	26
14	27
15	29
16	31
17	34
18	36
19	38
20	42
21	43
22	46
22	49
23	50
24	52
25	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Борис Тимофеевич Евсеев Красный рок (сборник)

Красный рок

Юрию Викторовичу Пастернаку

1

Стоит терем-теремок, он не низок, не высок, из трубы летит дымок, из окошек льется
рок...

2

В ночь со 2 на 3 января в гулких коридорах нежилого дома на Раушской набережной, как раз наискосок от Беклемишевской башни Кремля, в том месте, где когда-то был разбит Государев сад, а позже располагалась гостиница Хрулевой, раздался сухой треск, а вслед за ним влажно-нежное бульканье.

Охранник, дремавший на полуторном этаже, за стеклоперегородкой, тяжело заворочался, причмокнул во сне губами, заснул глубже.

Нежное бульканье на третьем перешло в журчание, затем еще раз треснуло и прерывистый мужской голос произнес:

– Фу, блин!.. Опять – лосины... И главное – где порвались? В самом неподходящем месте. А на балконе – холодрыга... Все на свете застудишь... Ладно уж, выползу на минутку...

Голос лопнул, разбрызнулся кашлем, раздались мерные шаги, коротко ругнулись на русском и на французском, и в доме, похожем снаружи на сказочный резной терем, а изнутри на унылую жилконтору, все окончательно стихло.

3

Подхорунжий Ходынин вставал-ложился поздно. А нынешней ночью – так и вовсе не спал.

Допекли, пиротехники чмуевы! Ворон и галок новогодняя пальба испугала не слишком: попривыкли. А вот один из кремлевских охотников, краснокрылый и красноштанный, с желтыми лапками и серебристо-белым хвостом пустынный канюк, после вечернего облета выделенного ему участка в Тайницкий сад не вернулся.

– За реку каня подался. Больше ему некуда...

Подхорунжий выбрался из служебной «конурки» на свет божий.

«Конурка» – комната 10 на 16 метров – располагалась здесь же, в подсобном помещении Московского Кремля, на полпути между Тайницкой и Беклемишевской башнями.

Ночных дежурств в этом месяце у подхорунжего не было, и он оставался в Кремле на ночь (что ему иногда с большим скрипом, но позволяли) просто так, лишь бы никуда не идти.

Кремль был его личной, неразрушимой, никем из врагов даже и на день не захваченной крепостью! Крепостью, которую он отбил и отвоевал когда-то у рекламщиков и торговцев и которую теперь осаждала одна только говорливо-беспокойная, в последние месяцы как-то особенно сильно надоедавшая глазу и уху Москва.

Но отвоевал, не отвоевал, а будущее Кремля, его чистота и сохранность – страшно подхорунжего в последние месяцы тревожили.

Вспоминая прожитый день и предвидя беспокойную ночь, Ходынин внезапно вздрогнул от чьих-то чужих, не предусмотренных ночными размышлениями слов.

– Украли Кремль, – заговорил кто-то внутри у него вкрадчивым, но вместе с тем и назидательным голосом, – умыкнули! Тазом медным Кремль твой, Ходыныч, накрылся!

– А чего это украли? – возражал вкрадчивому подхорунжий. – Ничего не украли. И тазом никаким Кремль не накрывался...

Выбравшись на чистый снежный участок, подхорунжий от радости рассмеялся: морозец забирал! Но возвращаться в «конурку», чтобы облачиться в положенную по уставу кремлевским сокольникам форму, не стал. В тапках на босу ногу, в синих, изрисованных мелкими красными сердечками гамашах – тоненькие гашаши на морозе сразу покрылись инеем – стал спускаться он к Тайницкому саду.

Тайницкий сад (расположенный, если смотреть на него с высоты, балалайкой) к западу сильно сужался. А на востоке был широк, буен!

Именно Тайницкий сад, а не дворцы и соборы подхорунжий считал сердцем Кремля.

Снежный сад звал, манил!

Но Ходынин в сад не пошел, свернул к Беклемишевской башне. По внутренней лестнице он поднялся до верхней ее трети и остановился отдышаться только близ узких, вертикально вытянутых машикулей.

«Бойницы косого боя» – машикули – были давным-давно заделаны кирпичом: воевать «отвесно» было не с кем. Однако во время одной из ночных прогулок подхорунжий несколько кирпичей из такой бойницы «косого боя» вынул. И сейчас, через неширокое пространство, стал смотреть вниз: на зубцы кремлевской стены, на лед Москвы-реки...

Ни на стене, ни на льду ничего завлекательного не обнаружилось.

Тогда подхорунжий преодолел еще один лестничный пролет и уже через не заложенные кирпичом бойницы «прямого боя» глянул на Замоскворечье.

Над Замоскворечьем плыли низкие облака. А там, где их не было, царила пустота ночи.

Вдруг из облака в ночную пустоту выпрыгнул месяц. Как тот деревенский дурень, стал он поигрывать блескучей и острой своей игрушкой: серпом!

Мир под лучами серпа стал стереоскопичней, объемней.
За рекой резко блеснуло.

Ходынин повел справа налево крупной, чуть сильнее, чем нужно, вжатой в плечи головой.

Если бы кто-нибудь в те минуты проследил за поворотом головы подхорунжего, то, конечно, тотчас вспомнил бы карточного валета червей. Ну, а печалью глаз – и в ту ночь, и во все другие дни и ночи – напоминал Ходынин опального поэта Лермонтова.

Снова блеснуло. И уже не лунным, каким-то другим светом.

Подхорунжий подступил к бойницам вплотную.

– На камеру, хорьки, снимают, – определил он сразу, – знают, четвероногие, что запрещено!.. А снимают.

Подхорунжий быстро спустился по башенным ступеням вниз и припустил в свою «камерку». Возвратившись с очками ночного видения – современным прибором, со встроенным инфракрасным осветителем и малыми наушничками для прослушивания разговоров на расстоянии, – он еще раз, и пока невооруженным глазом, глянул за реку.

Блеск не повторился.

– А вот мы сейчас вас прибором, приборчиком!

Утвердив и закрепив специальными ремешками прибор на темечке, подхорунжий не спеша перевел ночные очки, похожие на маленький узко-плоский бинокль, из вертикального положения в горизонтальное, приладил к глазам.

Но тут же и переместил очки назад, в вертикальное положение.

Постояв несколько секунд в задумчивости, он вернул очки ночного видения на место. Сомнений быть не могло!

Наискосок от Кремля, на угловом чугунном балконе старинного четырехэтажного дома, стоял Наполеон Бонапарт. С раздвижной подзорной трубой, в белых трениках, в лихо нахлобученной на лоб треуголке...

В этот момент Наполеон как раз совал подзорную трубу под мышку.

«Потому-то и блеск исчез!»

Внезапно Наполеон поднял трубу снова. Подхорунжему даже показалось: лучи их взглядов в пространстве встретились, друг о друга со всего размаху стукнулись, разбились, осыпались на лед стеклянным крошевом...

– Ишь, гад... Зазирает! – захлебнулся кислой слюной подхорунжий и полез в карман за мобилкой. Но сразу и обмяк.

«Чего это я? Сейчас только про призрак Наполеона наверх сообщать осталось! Мало им своей морочи?»

Ходынин сплющил веки, глубоко вздохнул, однако чуть погодя нехотя разлепил веки вновь.

Наполеон, как видно, собрался с балкона уходить.

Он повернулся к зубцам кремлевской стены спиной и почесал раздавшийся вширь, как у пятидесятилетней бабы, зад. Почесываясь, Наполеон произнес несколько с трудом уловленных прибором слов:

– И чего ты там увидел? Ни ответа, ни привета... Пусто! Кэс ке ву пувэ рекомэндэ?..

Подхорунжий рассмеялся.

– Маскарад же... Маскарад новогодний. Вот это что такое!

Призраков Ходынин старался не замечать, разговоров о них избегал. Ну, а негодяйский маскарад, затеянный на виду у соборов и башен, ну, а наглое «явление Наполеона Кремлю» и возможное повторение таких «явлений» нужно было пресечь в корне: прямо на месте происшествия отбив охоту к дальнейшим выходам на балкон с подзорной трубой.

4

Витя Пигусов на балконе замерз, затосковал и засобирался прочь.

Третий день подряд в костюме Наполеона Бонапарта развлекал он разную – и вполне пристойную, и грубовато-вульгарную – публику.

Осточертело!

Покидая резной чугунный балкон, Витя прокрался мимо лужицы десять минут назад выбулькнувшего на пол ликера, мимо ликерной бутылки, брошенной рядом с лужицей, мимо храпящего во всю сопатку охранника...

И вниз, вниз, в хорошо ему известную рок-харчевню!

В доме на Раушской Витя Пигусов – чудец, игрец, веселый молодец – когда-то отчаянно, хоть и недолго, трудился: вел театральную студию. Знал выходы, входы. Потому-то нынешней ночью сюда через черный вход и пробрался. (А по правде сказать, – просто спрятался от доставучих вопросов: «зачем сжег Москву»? и – «какой он на вкус, вороний супец»?)

Ну, а пробравшись в дом, не покрасоваться на балконе, с которого Наполеон и действительно (и этот исторический факт был Вите доподлинно известен) смотрел на выхватываемый вспышками больших и малых пожаров Кремль, конечно, не мог!

Уже на пороге харчевни чудец, игрец, веселый молодец вдруг сообразил: если ввалиться в таком виде – снова терзать, снова мучить станут! Поэтому, поворачив от рок-харчевни резко в сторону, Витя вдоль нежилых и, ясное дело, пустых в этот час домов кинулся в один из ближайших переулков: за привычным шмотьем, за нормальной одежкой...

5

Переодевшись в гражданское, подхорунжий Ходынин вышел через служебный вход в восточной части зубчатой, прекрасной и днем, и ночью кремлевской стены, двинулся к Большому Москворецкому мосту.

На мосту никто ему в этот час – все-таки полтретьего ночи – не встретился. Только какой-то пьяный, словно в состоянии невесомости, двигался в ту же, что и подхорунжий, сторону: в Замоскворечье.

Подхорунжий шел и думал о Наполеоне. Даже скорей не думал, а просто сравнивал внешность Бонапарта и свою собственную.

А внешность подхорунжий имел примечательную! Крупная, слегка вдавленная в плечи башка и всегдашняя казачья папаха на ней. Кругло-овальное, с чуть выпускаемыми наружу усиками, лицо. Высоко поднятые, как у циркового атлета, квадратные плечи. Мощный торс. Но при этом – коротковатые, выкривленные веками казачьих войн и набегов ноги. Походка – подволакивающая. Голос сиплый, армейский. Но не злобный, а скорей – сожалеющий. В общем, приятный кофейный голос.

Судьба подхорунжего была под стать внешности: в иных местах была она выдающейся, а в иных – так себе.

Главным в своей судьбе Ходынин полагал одно небезынтересное обстоятельство: несколько лет назад он был разжалован из подполковников в подхорунжие.

Разжалован самим собой: резко, безжалостно, некрасиво...

А до этого рок и судьбина были к подхорунжему милостивы!

Правда, молоточки любви и беспорочной службы поударяли всласть и его: как ту выкривленную железку, которую в кузнице над горном переворачивают то так, то эдак, а потом дают железке остыть, потом накаляют снова и снова, и повертывают во все стороны, и плющат, и выравнивают, и выкривляют, чтобы после всех – с виду очень и очень значительных – манипуляций приварить железку намертво к самому низу ржавой тюремной решетки...

Отец подхорунжего был из профессоров, дед – из красноказачков, бабка из белоказачек, мать – из консерваторской, московской, богатой, но, как выяснилось, непрочной семьи.

Кроме того, в послужном списке подполковника числились: четыре года службы в Народной Демократической Республике Йемен, четыре – в Средней Азии, под Бишкеком, два – в Ленинградской области и год – на Курилах.

Потом – внезапная отставка. Вслед за отставкой – саморазжалование в подхорунжие.

Про это саморазжалование однажды женившийся, но быстро расставшийся с супругой подполковник говорил знакомым дамам всегда одно и то же:

– Терпец мой кончился. Тошно и горько мне стало! Выбыл я из подполковников навсегда. Уж лучше подхорунжим быть. Оно и спросу меньше... Да и правящую партию покинуть никто не помешает!

Ну и напоследок, в конце разговора, он всегда туманно добавлял то ли про свою, то ли про чью-то чужую судьбу: «Рок виноватого ищет? Рок виноватую голову – найдет!»

В звании подхорунжего на службу в Московский Кремль Ходынин поступить и попытался. Но там такого самоуничижения не приняли, подтвердили подполковничье звание, назначили старшим над сокольниками, выдали схожую с полицейско-милицейской форму...

Кремль давно осаждали вороны, галки, грачи и пернатые помельче.

Птицы гадили на Царь-пушку, обливали пометом Царь-колокол. Но главное – это в основном делали вороны – долбили клювами и царапали когтями купола кремлевских соборов.

Золото соборов обновили еще в 70-х, при Брежневе. С тех пор спасу от ворон и галок в Кремле и не стало.

Крепость Кремля оказалась под угрозой!

В те же примерно годы произошел вовсе не смешной, а скорей драматический случай.

Наглая какая-то галка крупно наделала одному из приглашенных в Кремль священнослужителей (к счастью, священнослужителю не главной, хотя очень и очень уважаемой конфессии) прямо на бело-золотой головной убор. Галка наделала так черно и так густо, что у многих, за этим безобразием наблюдавших, вспыхнули неподконтрольные мысли не только о чистоте одежд, но даже и о самой чистоте помыслов священнослужителя одной из важнейших для России конфессий!

С «говнизмом» решили покончить раз и навсегда.

Завели ястребков. Позже к ястребкам добавили канюков и балобанов.

Ястребков было немного. Всего четыре. Канюков и балобанов – по одному. Но ведь пернатых хищников требовалось содержать, требовалось воспитывать!

Для правильного воспитания – а ястребки все время норовили продолбить друг другу голову – соколятников и завели.

Двенадцать лет назад, после нелепой смерти прежнего ястребиного начальника, подполковника-подхорунжего, этими ястребками, а также воспитателями-соколятниками командовать и поставили.

И Ходынин не подкачал! Сделал все как надо. Организовал – ни больше ни меньше – школу птиц. Школой этой наверху тайно гордились, и подхорунжий даже заказал для нее краткую, но выразительную вывеску:

«Школа птиц подхорунжего Ходынина»

Вывеска эта нигде не висела. Во всем своем блеске стояла она на столе, в «каморке» у подхорунжего. Крепко стояла и значимо!

Само дело обучения птиц подхорунжий тоже поставил круто, занимался им яро.

Ястребы и балобаны так кинулись на ворон – пух и перья посыпались!

Но случались, конечно, в воспитании птиц и недочеты, были промахи и потери.

Некоторые из ястребков оказались хуже ворон.

Уже с утра они начинали кричать жалобными, неуместными в Кремле голосами. Просили пищи, требовали – теперь им ненужной – свободы. А один из канюков – по-научному сокол Харриса – тот даже плакал навзрыд.

Плача и стеная, ястребы и балобаны (но не канюки!) продолжали предаваться нехарактерному для других пернатых смертному греху: каннибализму. То есть, попросту говоря, все время пытались друг друга сожрать: без остатка, с когтями и перьями!

Для устранения этих и других – прозреваемых в будущем – недочетов «Школа птиц подхорунжего Ходынина» свою деятельность и осуществляла, и совершенствовала.

6

Рок-кабачок в подвале на Раушской дымился и пел.

В глубоких, таинственных нишах кабачка (один только Витя Пигусов называл почтенное рок-заведение харчевней, а иногда – харч-роком!) дым стоял синими пирамидками. Интересно было то, что пирамидки дыма – в отличие от пирамид вещественных, настоящих – стояли и висели остриями вниз.

Трещали и помигивали елочные гирлянды. Спотыкаясь, молитвенно закатывали глаза официантки. Из «музыкального зала», проникая сквозь створки дубовых дверей, доносилась размеренная барабанная дробь.

В общем зале, облокотясь о стойку, лениво перепихивались словами два мужика:

– В голову бы себе он так стучал!

– А я барабанчики люблю. Послушаешь – и радостно: на войну тянет!

– И «кельты» эти самые... Чего в них, я спрашиваю, хорошего?

– А мне «кельты» нравятся. Арфа синяя, песенки дикие... Как заведут свое – и к Пугачихе не захочешь!

– Да ты всмотришься внимательней! Арфа-то у них – кладбищенская. На памятниках такие высекают. И песенки еще те: с погоста!

– Не скажи. Как быстро грянут – так подымай девчонки юбчонки!

– Ты вот чего мне лучше ответь: когда мы из этой норы на свет божий выползем?

– А тогда и выползем, когда Новый год до Старого добежит... К стакану зовите Русь! Усек?

– Ладно, еще по одной и – в музыкальный зал. Разомнем кости, братка...

Витя Пигусов, прикрывая полый растегнутого пальто треснувшие в неподходящем месте лосины, – своих собственных штанов там, где переодевался, Витя так и не нашел – гадливо мужиков обошел, двинул в музыкальный зал.

По дороге его остановил жидкобородый актер из вновь организованной и, по слухам, очень богатой антрепризы.

– Салют, Наполеоненко! Как сам? Все Ваньку на корпоративах ломаешь?.. Да ты не бойсь, я в «Щуку» стучать не стану! Я ведь сам теперь, помимо антрепризы, дискотеки кручу!

Входя в зал, Витя со зла громыхнул дубовой дверью. А громыхнув, еще раз подивился невиданной крепости, глухой и немой толщине старомосковских стен.

«Тут не Наполеон с подозрной трубой – тут Мамай нужен! Или лучше этот, как его... папаша Ивана Грозного... Василий Третий», – нехорошо подумал про Москву Витя, и на невысоком помосте запели по-английски.

«Нет, лучше все-таки сжечь», – решил Пигусов окончательно и сел за пустой столик.

Голова – пылала. Недовольство последних дней перекинулось со старой Москвы и правительственных кругов на английский язык. Витя скинул пальто на пол и вылил полбутылки «Шишкиного леса» прямо себе на темечко.

Стало легче: голова, как тот сунутый в воду факел, задымилась и, зашипев, приятно угасла...

Витя вздрагивал за столом. Одна рок-группа сменяла другую.

Ночь уходила куда-то к хренам собачьим: по Старой Смоленской дороге в сторону далекой Франции или еще более отдаленных Ирландии и Шотландии!

Вскоре на помосте не осталось никого: только контрабас, выкрашенный в бело-больничные тона, и громадный турецкий тулумбас с надписью: «Хари».

«Верно, – с горечью думал Витя, – куда ни глянь, – одни только хари вокруг!.. Ну всё, всё... Хватит смотреть по сторонам, хватит дурака валять, пора за ум взяться...»

Выходя в туалет, Пигусов столкнулся с мужиком в казачьей папахе. Мужик как раз папаху снимал, прятал в рукав пальто. Вите тоже захотелось щегольнуть головным убором, и он полез к себе за пазуху за уложенной там, в специальный нагрудный кисет, наполеоновской треуголкой. Однако, взглядевшись в мужика внимательней, сообразил: «Свой брат, актеришко! Перед таким хоть шапку Мономаха на голову напяль – бровью не поведет».

После секундных колебаний Витя мужику подмигнул, а треуголку доставать не стал.

Мужик подмигиванья не заметил. Во все глаза он глядел на сцену, куда только что снова вышли «кельты».

Девушка в длинном с цветами платье села на стул, установила меж колен синюю ручную арфу и сразу же, застыдившись, развернулась к публике боком. Дудочник с жестяной дудкой, похожей на маленькую, красиво загнутую на конце водопроводную трубу, и перкашист, с красными барабанными палочками, по очереди вожделенно на девушку глянули и, помотав головами, начали играть...

7

Новый год миновал. Святки не начинались. Пить не хотелось. Шорох крыл пустынного канюка затерялся где-то в Замоскворечье...

Десять минут назад подхорунжего Хоdyнина поочередно посетили душевное томление и смертельная скука.

Жизнь проносили мимо рта! Как лучшее блюдо на банкете – дальше, дальше, к счастливым и любимцам... Жизнь оставалась не распробованной на вкус, до конца не познанной.

Неуследимые взмахи крыл и тончайший запах птичьего помета, сонные арабы и прыткие евреи, армия и народ, и наоборот, народ и армия, политические партии и думские трибуны, кормящиеся за счет черной власти, жирные, с усиками метрдотелей бычки-оппозиционеры, возомнившие себя телеведущими, придурковатые военные с заячьими губками и такими же заячьими сердцами – все надоело, обрыдло...

Десять минут назад, потоптавшись под угловым чугунным балконом и не зная, где искать Бонапарта, подхорунжий вошел под арку, ткнулся в дверь кабачка.

Музыка в кабачке неожиданно Хоdyнину понравилась. Внутри стало свободней: сжавшиеся были сосуды головного мозга расширились, горизонты ума раздвинулись.

Музыка не была стадионной, крикливой. Некоммерческий рок ласково грубиянил, сладко шлепал по щекам, говорил отстраненными словами, осыпал пригоршнями колких ритмов.

Когда музыка кончилась, умолкла кельтская арфа (так ее назвал распорядитель вечера) и девушка в длинном платье, эту арфу обнимавшая, ушла, уведя за собой перкашиста, нелепого дудочника и двух парней с акустическими гитарами – Хоdyнин сразу стал ушедшую музыку вспоминать...

Вспоминая, он прозевал момент, когда в опустевший зал – покинутый и музыкантами, и почти всеми ночными посетителями – вошли парень с девушкой.

Может, Хоdyнин и совсем бы их не заметил, если бы парень не крикнул:

– ... а вот, увидишь, как она у меня сейчас взлетит!

Бережно скинув с плеча рюкзак, парень достал оттуда мешок, а из мешка на дубовый некрытый стол вытряхнул птицу.

– Тут, рядом подобрал! – продолжал возбужденно объяснять парень девушке. – Она в решетку на первом этаже вцепилась... висит, дрожит. А я ее – р-раз! – и в мешок. Ух, и летает, наверно! – восторженно обратился пришедший к Вите Пигузову.

Витя сейчас же упрятал пухлое наполеоновское личико в такие же пухлые ладошки.

– Ух, и летает... Ну, лети, птица!

Великолепный пустынный канюк, которого Хоdyнин два месяца назад приобрел за свои кровные на «Русском соколином дворе» – ездил на этот «Двор» куда-то к черту на кулички, за МКАД, расправил крылья и зашипел. Однако взлетать не стал.

«К хорошим манерам приучен», – с уважением подумал подхорунжий и от гордости прикрыл веки. Когда он их раскрыл – картинка сменилась.

Не зная, как заставить канюка взлететь, парень запечалился, сел на стул и, заглядывая птице в глаза, стал спрашивать:

– Ну, давай, кречетуха, давай! И Сима тебя просит, и Олежка!

«Не смотри птице в глаза!» – хотел предупредить Хоdyнин Олежку. Но не успел.

Великолепный канюк, канюк засадный, канюк краснокрылый и красноштаный, слегка отвел голову назад, сделав три шажка по столу, легко вспорхнул и долбанул клювом

Олежку прямо в лоб. Чуть повисев в воздухе, канюк снова мягко встал на лапки и весело едва ли не насквозь проклюнул зацепленный гак за стол палец обидчика.

Олежка взвыл, а канюк отлетел в угол зала и спокойно уселся на подвесную музыкальную колонку.

– Ключнул – и молоток, ключнул – и правильно! – обрадовалась девчонка.

Олежка заныл, заскулил.

– А еще кречетуха, – обиде его не было конца, – а еще друг человека...

– Птица человеку – ни друг, ни враг. Птица – сама по себе, человек – сам по себе. И не кречет это. Пустынный канюк. По-научному – сокол Харриса. Ему нельзя в глаза заглядывать. Канюк воспринимает взгляд как агрессию. Ну, он ведь и не баба, и не четвероногое...

Канюк вверх, на колонке, в знак согласия чуть опустил расправленные крылья.

– Видишь? В засаде он. Но интонацию мою распознает точно: ты мне (а значит, и ему) не понравился, – грубовато закончил Ходынин.

– Надо поймать канючка, а то он на Олежку еще раз кинется, – зазывно попросила Сима.

– Не кинется. Засадная птица – умная птица.

Ходынин издал легкий свист, и канюк окончательно сложил крылья.

Ходынин свист повторил и вытянул руку. Канюк спикировал на руку, уселся на ней поудобней и в знак любви и покорности склонил головку набок.

Ходынин вынул из кармана синий бархатный колпачок и бережно надел птице на голову. Канюк спрыгнул с руки на стол и улегся – грудка вверх, голова набок – как убитый.

– Ух, блин! – забыв про боль, высокий, молодой, но сильно уже облысевший, с остатками взбитых «химией» волос по бокам и за темечком (отчего казалось, за темечко зацепился небольшой венчик из вялых коричневых водорослей), не слишком толстый, но с яйцевидным животиком. Олежка обежал, чуть прихрамывая, вокруг стола, застыл перед Ходыниным...

Познакомились. Приняли на грудь. Парень оказался интернет-провайдером Шерстневым. (Первоначальное ходынинское впечатление об Олежке быстро затуманилось, рассеялось.)

Девчонка по паспорту звалась Симметрия, а так – Сима.

Прощаясь, Олежка сказал:

– Музыка здесь – неровная. То свежак, то попсытина. Но ты приходи, они программу часто меняют. – Шерстнев осторожно потрогал здоровым пальцем птичий колпачок. – И птицу свою дрессированную приноси. Просто так, поглядеть...

8

Подхорунжий к Олежке прислушался и поздними вечерами, стараясь не пропускать ни одного рок-концерта, стал в кабачок захаживать. Поначалу – морщился, но потом к новой музыке попривык, стал подпевать и пристукивать в такт.

Особенно нравились подхорунжему музыканты питерского и московского рок-подполья (так они сами себя называли.) Музыка их действительно была новой. Она цепляла глубоко спрятанные струны, оголяла скрытые нервы, но не била по ним – бережно перебирала. А главное, музыка эта не была дьявольской или обезьяньей – была человеческой!

«Не для рёхнутых фанатов, не для площадей громадных сочиняли... Для таких вот кабачков, для гостиных даже», – заставлял себя любить новую музыку все больше и сильнее подхорунжий Ходынин.

Он стал напевать прилюдно. Иногда пел во весь голос.

Увлечение подполковника музыкой – и в особенности подпольным роком – те, кому следовало, заметили. И оценили по-своему: как неуместную блажь.

К этой оценке добавилась другая: охранно-профилактические полеты в Кремле проходят в последнее время вяло, контрпродуктивно!

И верно! Вороны, собравшись в стаи, сильно трепали ястребков. Те все норовили сожрать друг друга. Ну и, наконец, «Школа птиц подхорунжего Ходынина» продолжала пугать туристов далеким, едва слышимым – чаще вечерним, но иногда и утренним – плачем необученных птенцов.

Так думали наверху. А вот сам подхорунжий думал и чувствовал по-другому...

Пустынный канюк продолжал радовать Ходынина!

В отличие от кремлевских ястребов, за галками, воронами и ласточками, с которыми, кстати, он в скорости тягаться не мог, канюк очертя голову не кидался.

Красно-пустынный, серогрудый, он прятался меж зубцов кремлевской стены, с зубцами этими почти сливался, был незаметен, тих. И внезапно, как маленький красный смерч, налетал на гадающих, клюющих, царапающих пернатых!

Словом, канюк, или сокол Харриса, вел себя по-современному: ловко, умно.

Ходынин даже стал подумывать о том, чтобы вместо двух бойких, но дураковатых ястребов завести еще одного канюка – может, даже самочку.

А вскоре к радости от наблюдения за канюком прибавилась радость другая, необъяснимая: русско-кельтская!

Возникнув совсем недавно, эта радость по своему стремительному разрастанию и ласковому захвату внутренних ходынинских территорий обещала затмить и радость, получаемую от «Школы птиц», и радость, получаемую от засадного канюка.

9

До Святки и почти на всем их протяжении подхорунжий прослушал в рок-кабачке едва ли не полтора десятка групп.

Ублажили канадцы. То есть музыканты, придерживающиеся стиля кэнадиан-рок.

Они вкрапляли в английские тексты французские словечки, и это Ходынину о чем-то приятно напоминало. Эмигрантские жестянки и не слишком-то ритмичные младенческие погремушки, словно воспоминания о давным-давно покинутой Европе, сопровождали канадцев постоянно. Музыка их, однако, не раздражала – «колыбелила». (Так однажды признался себе Ходынин и потом уже от собственного неуклюжего словечка отказываться не стал.)

Со вниманием был им прослушан и этно-рок бретонцев: с чуть навязчивыми танцами, с бесконечными волынками, с непривычными пунктирными ритмами и старинными мелодическими оборотами.

А потом настал черед русского рока. Русский рок, конечно, смешивали с американским и афро-роком, но в умеренных дозах.

Здесь подхорунжий быстро приновился и незнакомой музыки больше не дичился: поздними вечерами (иногда – долгими ночами), составив в ряд четыре дубовых стула, он ложился у дальней стены кабачка на спину и, мысленно повторяя причудливые извивы отечественного рока, утопал в мечтах.

Сквозь сон и мечты им впервые была услышана и оценена группа «Хранящие молчание» («The Keep Silence Band».)

Подхорунжему сразу же понравились их трепетно-тревожные рок-н-рольные пробежки. Пробежки делались «кипсilenовцами» в сторону незабвенных 60-х, с полным набором деталей, звуков и шелестов тех лет: с крутежкой виниловых пластинок, с антивьетнамскими протестами, с песнями геологов, электрическим хрипом звукозаписывающих аппаратов и другим приятнейшим отечественным и зарубежным хламом.

«Хранящие молчание» словно включили над подхорунжим огромный, вспыхнувший всеми лампами сразу радиоприемник давно ушедших времен. И долго его не выключали. В этом огромном приемнике, с виду напоминавшем гидростанцию, плясали на иностранный лад наши мужики, наши девки...

Девочек с мужиками сменял хор сожалеющих.

Сожалели – приятно квохча, то на английском, то на русском – уже о временах недавних: о распаде СССР, о глупостях последних генсеков и первых президентов, о пресловутом миллениуме, так и не ставшем – к досаде многих рокеров – настоящим концом света.

Затем настал черед «психоделии 60-х», краут-рока и синти-попа.

«Психоделия 60-х» была представлена в музыкальных картинках.

Вышел на сцену густо обделанный негр (поток жидкого кала едва успели засохнуть на белом его пиджачке.) На груди у посланца Африки висела крупная табличка, где по-русски было выведено: «Я – Хрущев!»

Афро-Хрущев встал на руки (в узкие кремовые ботинки его ручки влезли с трудом) и лихо сбавал – мелькая пятками в воздухе и топоча руками по полу – песенку «Летите, голуби, летите...»

Сопровождал обделанного небольшой рок-оркестр.

Музыканты ловко и весело провели голубиную темку, передавая ее от инструмента к инструменту: саксофон, контрабас, фортепьяно, гитара. Фортепьяно, саксофон, гитара, контрабас...

Веселью музыкантов, отпускаящих на волю явно шизанутых, зловредных и давно осточертевших подхорунжему голубей, не было предела. Может, именно от этого веселья афро-засранец внезапно перестал выцокивать надетыми на руки ботинками, лег на спину и заплакал.

Саксофонистов-гитаристов это взвеселило еще сильнее. Они сменили тему.

Какая-то до боли знакомая, внутри самой себя очень печальная, но подаваемая с неслышанной радостью мелодия зазвучала в резко сбавившем звучание рок-бэнде!

*Москва – Чикаго —
Лос-Анджелос,
Объединились
В один колхоз...*

*O Saint Louis blues!
O, o, o, o, o, o...*

– старательно выводил уже вставший на ноги афро-Хрущев.

Певец разгорячился, было видно – песня ему нравится. Он спел дальше:

*Барак Обама
Такой чудак,
Он ходит прямо,
Даже забив косяк!*

*Перезагрузка,
ядрёна вошь,
В штанах так узко,
Что не возьмешь...*

Внезапно музыканты перестали играть совсем.

Пользуясь возникшей тишиной, афро-посланец, чуть пародируя русское произношение, стал читать взхлеб, словно опасаясь, что его погонят со сцены, блюзовые стихи:

*О-у! Мама, мам-м-ма!
Пожалуйста, не бей меня этим
кожаным ремнем!
Он весь пропитан кровью и потом
афро-американцев.*

*Я обещаю, я больше не буду таким засранцем!
А когда ты станешь старой, я буду кормить
тебя ночью и днем...*

Синти-поп, прозвучавший в первый святочный вечер, был куда веселей и приятней, чем слегка устаревшая «психоделия 60-х».

Крохотная девушка в телесном велюровом костюме, с экстатическими глазами и выкрашенным в клюквенный цвет буратинистым носом произнесла со сцены вступилровку:

– Друзья! Сегодня вы имеете возможность соприкоснуться с экзистенциальным городским шаманизмом и услышать суровую мужскую лирику тех, кому за тридцать.

Слушатели, ждущие музыки, а не удлинённых слов, – недовольно зашумели.

Один Ходинин зааплодировал.

«Клюквенная» девушка благодарно кивнула и, на миг затуманившись, пояснила:

– Я не для всякой рвани это говорю! А специально для господина у стены – хочу добавить, мы не лабухи и не жмурилянты. Мы – шаманы. Понимаем, что к чему и куда ведут страну!

Подхорунжий девушке снова рукоплескал: предстоящий шаманизм обещал ударить в самое сердце.

Правда, прослушав добрый кусок синти-попа, Ходинин образно представил себе этот музыкальный стиль чем-то очень далеким от прыжков и ужимок шамана: представил молниеносным падением красного пустынного канюка на болтливого кремлевского голубя...

10

Но самая интересная музыка зазвучала тогда, когда в рок-кабачок пожаловало питерское подполье!

Черный русскоязычный блюз завел подхорунжего невидимым ключиком, а затем наполнил внутренним стрекотом, треском и даже смыслом, как наполняет смыслом пусто-порожнюю станиолевую, бегающую по полу туда-сюда игрушку безостановочное движение и напор.

И завод этот долго не кончался!

Подхорунжий уже не лежал у стены, как во время приступов психоделии и шаманизма, а, подступив вплотную к сцене, внимал смелым подпольщикам рока.

– Ты, «горшок»! Закрой хавальник! Кочум влетит.

Подхорунжий не сразу сообразил: лидер одной из групп черного русскоязычного блюза в паузе обратился именно к нему. А сообразив, засмеялся. До него вдруг дошло: если бы не черный питерский блюз и не краснокрылый канюк, его личные, только что истекшие сутки в Москве можно было бы преспокойно спускать в мусоропровод!

И еще одна питерская рок-группа покорила Ходинина.

Группа звалась «Декабрь».

Начали «декабристы» – неожиданно: вдруг в качественной рок-обработке грянула родная «Дубинушка».

Уже после второго куплета подхорунжий снова вскочил на ноги и стал, не сдерживаясь, подпевать. А во время заключительного куплета, скинув ботинки, даже запрыгнул на стол.

Один из куплетов песни Ходинину так понравился, что, возясь с птенцами, распределяя ястребиные корма, мечтая про еще одного канюка, он несколько дней кряду у себя в Кремле напевал:

*Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел из машины машину.
А наш русский мужик, чтоб работе помочь,
Он затянет родную «Дубину»!*

Питерцы в тот раз одной «Дубинушкой» не ограничились.

«Декабрь» спел много разного, и спел классно!

Подхорунжий уже давно спрыгнул со стола, успел возрадоваться и пригорюниться, успел опрокинуть стопарик-другой и задуматься о будущем, когда питерские рок-декабристы вдруг завели тонко, завели пронзительно:

*Эта песня не понт и не вызов!
Эта песня – моя слеза...*

Сзади подкралась незнакомая деваха, легла на подхорунжего полной грудью...

Ходинин шуганул девку так, что она за весь вечер свою весомую грудь больше ни разу в музыкальном зале не показала...

*Так что сильно не бейте, братцы,
Не со зла рвутся струны мои...*

Струны подхорунжего и не надо было рвать! Неумелыми, но идущими откуда-то из самых глубин стишатами струны эти были порваны враз и надолго. И теперь обрывки ходынинских струн цеплялись уже не за рок-кабачок, не за Святки, а за что-то иное, связанное с песней весьма и весьма отдаленно: за год 1991-й, за год 1993-й, за 1998-й, за 2000-й и 2008-й!

Все, что ливневыми потоками «лажи» и лжи перекачивалось через Тверскую, подтачивало новенькие колонны отеля «Ритц-Карлтон», мчало через изуродованный Манеж и через Васильевский спуск, все, что стремилось весенней сорной водой сквозь Государевы огороды и дивное Замоскворечье, все, что прибывало невидимыми волнами из Питера в Москву и откатывалось еще большими волнами обратно, – разом обрушилось на Ходынина!

*Уважение и почет,
Безусловно, заслуженный факт.
Ведь революции запах —
На их плечах!*

Какое-то внешнее дуновение коснулось вдруг подхорунжего.

Ходынин травленно озирнулся.

Мимо скользнула Симметрия. Она пахла Революцией и «Рексоной».

Подхорунжий, давно научившийся отличать по запаху смерть от жизни, ястребов от сов, галку от ласточки, женщину от девушки, почувствовал мгновенное сжатие «очка» и вслед за ним сжатие сердца. Однако сдержался и за революционным запахом Симы не последовал.

Не осталось добра в руках... —

продолжали тыкать питерцы ножичком под ребра, —

*И одна из важнейших тем:
Кто на сцену выходит за кем...*

За дерзкими питерцами последовали:

«Мертвые животные» – «Deed Animal store» – с наивной, детско-музыкальной историей собственных мифов и грез;

«Облученные зимой» – с чистеньким, легким, приятно однообразным роком;

«День аморального единства» – с настоящим, а не поддельным авангардом, ловко оформленным звучной акустикой;

далее – «Адренохрон», с ласковой пропагандой музыкального опьянения и почти собачьим вытьем на тему петой-перепетой бетховенской «Элизе»;

еще – «Наглые фрукты», с поэтическими выкрутасами и крутыми стычками прямо на сцене...

Запомнился подхорунжему и эпатаж – во всех смыслах передового – оркестра «ЙОП ШОУ»; запомнилась группа «BeZ Даты», с традициями старого нью-орлеанского диксиленда и хулиганской романтикой в стиле все тех же 60-х.

Попадалась, конечно, и тошноватая, до неприличия растиражированная на всевозможных дисках муз-ересь:

*Ты похожа на блюз
В ритме белого кайфа,
С головою гуся и глазами совы...*

Подхорунжий не одобрял издевок над птицами: над несъедобными и съедобными, над хищными и певчими, над полезными для людей и над вредоносными.

Когда звучала такая муз-ересь, он затыкал уши пальцами, песня уходила, постепенно в памяти стиралась...

Кроме черного русского блюза, глубоко запал в душу Ходынину кельтский рок.

Даже и во снах он теперь вспоминал сурово-нежную кельтскую арфу! И часто звуками этой арфы обрамлял собственную, как иногда представлялось, таинственную (а вне этой таинственности абсолютно бессмысленную) жизнь.

И все же венцом Святка стала для подхорунжего давняя песня Пола Маккартни – «Wednesday morning at five o'clock...» из альбома «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера».

Исполняли песню какие-то московские или подмосковные лицеисты из рок-студии «Красный химик». С тремя дешевенькими гитарами наперевес, с русскими гусями, изображавшими арфу, с густолющейся, как гречишный мед, виолончелью, – они исполняли песню истово, горячо, как молитву.

«Утро предчувствий в Московском Кремле» – так стал называть про себя этот пепперовский «Wednesday», эту «Среду», посыпаемую невидимым, но на ощупь страшно приятным пеплом, подхорунжий Ходынин.

Как раз слушая эту вещь, подхорунжий на краю Святка вдруг ясно осознал: все идет неплохо! Но идет не туда, куда надо...

Именно эту песню из «Сержанта Пеппера» подхорунжий напевал перед тем, как стронулась с места и вдруг побежала – через территории, близкие к Московскому Кремлю, и даже через сам Кремль – цепочка гнусноватых и никому не нужных бесчинств...

11

Как-то по просьбе рано облысевшего Олежки подхорунжий принес пустынного канюка в рок-кабачок еще раз.

Там каню и уперли.

В тот вечер кто-то из посетителей прозвал – и все сразу стали повторять – канюка Митей. Это вызвало резкие возражения Ходынина: птица не нуждается в имени! Она его не чувствует и не понимает. Птице нужен жест и свист хозяина, и нужна его любовь. Вот ее-то любая – хоть безымянная, хоть с именем – птица чувствует в первую голову!

Никто, однако, Ходынина не слушал.

Протестовать дальше подхорунжий не стал, просто от происходящего отстранился и сильный обычного замкнулся.

Посетители же и музыканты весь вечер любовались тем, как Митя, отыскивая укромное местечко, бьется в боярских нишах, прячется за лепными, окрашенными в цвет слоновой кости выступами...

А потом произошло отключение электричества по всей Раушской набережной (сбой, скорей всего, произошел здесь же рядом, на ГАЭС-1), и пустынный канюк пропал с концами.

Краже канюка, помимо отключения электричества, сопутствовали следующие обстоятельства.

Уже все ряженные, все Деды Морозы и Санта-Клаусы попрятали в сундуки свои разноцветные одежки, когда Витя Пигусов – чудец, игрец, веселый молодец – решил еще раз пугнуть Москву. И снова Бонапартом. Но вполне возможно, что и бонапартизмом!

Не за баблом решил, не по чьей-то наводке, а для души.

Пигусов, получивший классическое актерское образование в московской «Щуке», актером себя считал средним. И сперва из-за этого сильно переживал. Но потом, как водится, по привычке: жить середнячком было и выгодней, и привольней!

Однако два актерских приема удавались Вите на славу.

Первый прием состоял в том, чтобы не просто приладиться, а буквально прирасти к театральному костюму. Для постижения секретов швейного дела Витя даже стал портняжничать на дому: по утрам, до работы. И добился успехов ошеломляющих: любой натянутый на Витину толстую задницу карнавальный или «детско-утреннический» костюм делал его именно тем, в кого он обряжался!

Баба-яга, Колобок, Леонид Брежнев, Владимир Путин, гоголевские обитатели Диканьки, чеховские обыватели города Таганрога или московской Трубной площади – въедались в кожу накрепко! Их даже трудновато было потом соскабливать-отдирать.

Второй прием состоял в тщательной организации околоактерского пространства. Нет, не пространства мизансцен! А именно заактерского и наактерского пространства, решающим образом влияющего – так считал Витя – на произносимые слова.

То есть, проще говоря, Витя, делая часть режиссерской работы, умел хорошо «задекорировать», умел переделать театральные холмы и долины, театральные подвалы и улицы – уже не в театральные, а в киношные: мосты, переходы, туман, воздух, склады, свалки, клумбы, рекламные щиты, бесконечные московские ларьки, заборы...

И вот, когда Витя стал осмысливать образ Наполеона заново, ему захотелось не просто глядеть на Кремль через подзорную трубу, – захотелось пробиться внутрь каменного сердца России. И пробиться не просто так: обязательно с соколом на плече!

Почему именно с соколом, Витя объяснить не мог. Но он точно и определенно знал: без сокола – настоящей организации околоактерского пространства не произойдет. А значит, не выйдет и самого представления!

В первые январские дни он подходящего сокола в рок-кабачке и увидал...

А сегодня этого самого сокола принесли в кабачок снова. Правда, называли сокола неприятным словом: канюк. Витя попытался произвести анализ слова, не смог, озлобился, плюнул и стал размышлять, за какую бы сумму этого самого сокола-канюка у хозяина на денек-другой арендовать.

И здесь внезапно вырубили свет!

Недолго думая, Витя прокрался к одной из боярских ниш, встал на стул, боясь удара клювом, содрал с себя пиджак, накиннул пиджак на темноту...

Под пиджаком что-то затрепыхалось. Витя пиджак быстро скомкал, набросил на плечи найденное ощупью пальто и, обмирая сердцем (к тому ж еще и чувствуя, как сжимается драгоценное его «очко»), выкрался из кабачка вон.

На Раушской набережной тускло посвечивали дежурные фонари.

Под одним из фонарей Витя увидел нервно кулившую Симметрию.

Знакомы они были шапочно, и Витя закинул приличный крюк, чтобы кулившую обмигнуть. Но не такова была Сима-Симметрия, чтобы отпустить попавшегося ей на пути мужика просто так.

– Муш-щина, забыла, как вас... Слышь ты, подгребай сюда!

Не отвечая, Витя кинулся наутек.

Симметрия остро глянула ему в спину.

«Ишь, сука, как глазами стрижет, – страдал чувствительный Витя, – думаю, я не понимаю, чего ей нужно...»

12

Но Сима-Симметрия думала как раз не про Витю. Его она мигом забыла и снова, в который уже раз, переключила мысли на подполковника Ходынина.

Симметрия была невероятно гимнастична: и умом, и телом.

В поступках тоже старалась соблюдать нужное равновесие. Улыбок и ласк отмеряла ровно столько, сколько было необходимо. И тому, кому полагалось. Так было в школе, так было в Институте физкультуры имени дедушки Лесгафта. Да и после прохождения полного курса прыжков и ужимок у дедушки Лесгафта все делалось именно так, не иначе!

Кроме того, постепенно самой жизнью Симе было растолковано: имя ее – не случайность!

«Настоящая Симметрия ты, девка, и есть! Спереди, сзади, с боков, снизу и сверху. А что крестили Стефанидой, – так это бабка с дедом начудачили».

Стефа, Стефанида... Это имя всегда ей казалось дурацким, вычурным. И поэтому временами она испытывала буйную благодарность по отношению к родителям за то, что в метрических записях указали ее Симметрией.

В себя как в Симметрию она влюбилась одним махом и навсегда!..

Сима думала про Ходынина и вспоминала их (по гамбургскому счету первую, а вообще-то, вторую) встречу.

Эта встреча произошла в подсобном помещении Московского Кремля и, хотя закончилась ничем, – сильно ее впечатлила.

Выведав тайно у нынешнего своего ухажера Шерстнева – нытика, тупилы, неудачника, где именно трудится подполковник, она в одну из важнейших точек Кремля к Ходынину (сперва в толпе туристов, а потом ловко от них отделившись) и двинула.

«Школа птиц подхорунжего Ходынина»

Эта табличка на Симу особого впечатления не произвела. Да и самих птиц в громадной комнате – с бойницами вместо окон, к тому же сплошь завешенной какой-то мелкаячейстой рыбацкой сетью – почти не было. Только дохловатый птенец долбил клювом на пустом столе какую-то черепашку. Клюв, правда, у дохляка был мощный: чуть изогнутый, желтовато-прозрачный. Кое-где клюв отливал перламутром. А местами от мощи своей и силы – даже светился.

«Вдруг такой и у Ходынина? Дико круто...» – внутренне вздрогнула Сима и стала не спеша раздеваться.

Она скинула на пол шубку, туда сразу же полетел и жакет, за ними – чуть погода – легкая белая кофточка. Грудью своей Сима гордилась бесконечно и пока никакими излишними одежками ее не сковывала. Обнажаясь, она всегда ждала возгласа: «Ах!» В крайнем случае: «Ух ты!» В самом крайнем: «Бля-я-я...»

Подполковник Ходынин произнес другое слово.

– Стоп, – сказал он, – стоп, лапа, минутку.

Пронеся на кривеньких ножках свой тяжкий корпус к столу, Ходынин подхватил под крылышки дохлого птенца и, любуясь им, посадил полуголой Симметрии на плечо.

Ходынин – залюбовался и застыл. Птенец балобана на плече у гимнастически сложенной девушки показался ему прекрасным!

Любуясь, Ходынин не двигался. Из окон-бойниц лился томный свет. Симметрия стояла и мерзла. Наконец подхорунжий сказал:

– Птица к тебе ластится. Стало быть, лапа, и я могу.

Симметрия обрадовалась и хотела быстренько смахнуть наглого птенца, уже чего-то на плече у нее нацарапавшего, на пол. Но тут вбежал какой-то военный, стал, не обращая внимания на Симу, что-то на ухо Ходынину шептать.

Сима разобрала только: «Тайницкий сад... Опять, как раньше... Прикажете выпускать ястребков?»

Сперва Сима думала возмутиться, потом решила подождать. Военный быстро, так ни разу на нее как следует и не глянув, убежал.

Ходынин продолжал стоять, словно созерцая собственную задумчивость.

Вдруг урок анатомии и птицеводства был бесстыдно кончен.

– Нет, – сказал сам себе подполковник-подхорунжий, трудно ворочая из стороны в сторону вжатой в шею больше, чем нужно, головой. – Нет. Глупость все это. Баба – глупость. А птица?.. Нет, не глупость. Кстати, о бабах и мужиках... Олежка Шерстнев вам кем приходится?

– Так... Никем...

– Что он вообще за человек?

– Олежка? «Парень хоть куда»!

– В смысле?

– В смысле и туда, и сюда может. Бисексуал он... – зарделась Сима. – Мы его в кабачке зовем Синкопа. Хромает бедненький...

– Синкопа и Симметрия, – раздумался вслух Ходынин. – Симметрия и Синкопа... Как ни крути – четвероногое и четвероногое!..

После некоторых размышлений подхорунжий снял птенца с хрупкого женского плеча и снова усадил на стол: долбить черепашку. Потом поднял с полу кофточку, хмурясь, подал Симе, кивнул головой на дверь.

На этом первая встреча в Кремле гимнастически развитой Симы и бесчувственного птицелова была в общих чертах завершена.

И теперь Сима-Симметрия, стоя под дежурным освещением Замоскворецкого района города Москвы, прикидывала: являться или не являться в Кремль еще раз для окончательного умирения проклятого птенца? Взять или не взять их обоих за клюв? Сперва птенца, а потом и птичника.

«Как этого мучителя пернатых, кстати, зовут?» – вспоминала и никак не могла вспомнить Сима...

13

Имени у Хоdyнина не было.

То есть раньше оно, конечно, было. Но с течением времени повыветрилось. Да и по правде говоря, подробные именованья – имена, отчества, их сочетания – подхорунжему только мешали. Ну, соколятник и соколятник, Хоdyнин и Хоdyнин. Зачем имя, когда вокруг столько неназванного, безымянного? И все это безымянное, вопреки расхожему мнению, прекрасно существует! Неназванные холмы, неназванные явления, безымянные птицы, безымянные люди-собаки: бомжи...

– Без имени и овца баран, – говорил наставительно подхорунжему его дальний родственник, пензенский предприниматель, приезжая из глубин России в Москву разогнать тоску.

Хоdyнин только отмахивался...

Возраста у подхорунжего, кстати, не было тоже.

Здесь, правда, было легче. «От 35 до 58» – свободно определяли возраст подхорунжего его знакомые. И это Хоdyнина устраивало...

Полночи и часть следующего утра подхорунжий Хоdyнин искал пропавшего канюка. Даже назвал его про себя три раза Митей, за что потом – и уже вслух – ругнул себя же «охламоном».

Но лучший воспитанник «Школы птиц», но тишайший исследователь Тайницкого сада, но красноштаный и краснокрылый сокол Харриса – как в воду канул!

14

Ровно в четыре часа дня Витя Пигусов, живший неподалеку от Кремля, на Маросейке, стал собираться. И уже через тридцать минут в допотопном пальто из грубовыделанной воловьей кожи, без шапки, с вельветовым, средних размеров, рюкзачком на плече он шагал по территории Кремля. Шагал в группе итало-испанских бандитов, которые только прикидывались туристами.

«Бандиты, бандюганы, – нервно думал про себя чудец, игрец, веселый молодец. – Бандитские морды – а туда же! Прут по Кремлю, как по заштатной крепости. Прут, а не понимают: здесь – драма! Здесь – пороховая бочка! Бонапартизм здесь, и все такое прочее... Ладно. Клин клином вышибают. Сейчас мы им покажем пародию на бонапартизм! Устроим Лобное место у Царь-пушки!»

Знаменитая наполеоновская треуголка, выпрошенная у реквизитора МХТ имени Чехова и обратно в театр не возвращенная, покоилась на груди, в специально нашитом на рубаху кармане-кисете. Рука Витина за треуголкой то и дело тянулась, но после команды «рано» опускалась вниз.

Осматривавших Кремль было не так, чтобы густо. Не считая итало-испанских бандитов – человек пятнадцать. Мороз!

«Мало, мало», – лихорадочно оглядываясь то на индуса в тюрбане, то на группу сингапурцев-тамилов, то на двух простушек из Александрова, про этот самый Александров без конца судачивших, убеждал себя Пигусов.

Вите необходим был многочисленный зритель!

Опасливо озираясь – слышал о конной охране, о заводных, механических, очень маленьких, но страшно кусачих клещах, зимой и летом кидавшихся по команде на «неправильных» посетителей и впивавшихся в их тела глубоко, и поселявшихся в этих телах надолго, – Витя решил выждать.

Предвечерний Кремль удивлял пустотой и слабо уловимым, скрытым, но все ж таки вполне ощутимым поступательным движением. Кремль плыл, не уплывая! Плыл, оставаясь на месте, вдаль и вперед! Плыл над Москвой-рекой, над Замоскворечьем, уплывал мимо фабрики «Дукат», мимо дымящего ГАЭСа...

Или это плыла Витина похмельная голова?

Потихоньку от итало-сингалезской группы отставая, Витя потрогал, а потом и помассировал оба виска сразу.

Кремль все равно продолжил внутреннее – стремительное и плавное – движение!

Вдруг на заснеженную лужайку, располагавшуюся чуть в стороне от главной асфальтовой дороги, вывалилась запыленная московская семейка. Трое ребятишек стали без устали кувыряться в снегу, отец с серьгой в носу и мать с сигаретой за ухом, благоприютствуя детским шалостям, улыбались.

«Эти!» – враз полюбил неожиданных зрителей Витя и тут же скинул на снег грубовыделанную, кремово-кофейных цветов воловью шкуру.

Блеск генеральской формы и мигом нахлобученная на голову знаменитая треуголка Серьгу и Сигарету (так по-быстрому окрестил родителей Витя) впечатлили не слишком.

Но вот ребятишек «Наполеончик» (узнали-таки, узнали!) заинтересовал сразу.

Витя еще только открыл рот, чтобы произнести любимую наполеоновскую фразу про ворон и горящую Москву, как один из ребятишек, подкравшись сзади, раскинул в стороны крылышки генеральского мундира и вцепился в Витины лосины. Руки у Вити были заняты раздвижной китайской подзорной трубой (труба все не раздвигалась), и поэтому сразу дать вцепившемуся по ушам он не смог.

Ребяенок, изловчась, стал тащить лосины вниз. Лосины потиху-помалу поддавались. «Снимет ведь, подлец малолетний... При всем честном народе снимет!»

– Теперь Деушка Мооз без бооды, как Наполеончик будет! – пискнул еще один ребяенок и, схватив за руку Сигарету, а коленкой подталкивая Серьгу, потащил их поближе к месту действия.

Слова про Деда Мороза Витю расстроили. Вместо того, чтобы дать оплеуху пыхтящему сзади ребяенку, он в глуповатом унынии застыл.

Тут заговорил отец семейства, Серьга:

– А вы бы, уважаемый, у Царь-пушки выступили. Там и народу побольше, и пиару – зашибись!

– Пиарль, пиарльчик! – ласково, как домашняя собачонка, заурчал третий, самый продвинутый ребяенок.

Подхватив воловью шкуру и трусовато озираясь, пихая треуголку в карман-кисет и судорожно поддерживая на плече вельветовый рюкзачок, Витя согласно кивнул и засеменил к Царь-пушке.

Рюкзак на плече его шевельнулся.

15

Ничего о Витиных бесчинствах не зная, подхорунжий Ходынин занимался в этот час тренировкой птиц.

Делал он это так.

Сперва увещевал птиц командным словом. Слово для каждой из птиц было свое.

Для ястребов: «Пшуть!» Для балобана: «Тэго!» Для канюка – «Флю!» Для подсадных ворон – а их, прежде чем пустить на корм ястребам, тоже следовало тренировать, – слово «фук!» Прямого значения слова не имели. Птицы просто запоминали интонацию и высоту тона и по ним отличали хозяина от иных двуногих.

После слов Ходынин переходил к делу.

У западной стены своей конурки – 10 на 16 метров – он привязывал за ниточку картонного японского журавля и включал вентилятор. Журавль вздрагивал, шевелился, ястребы сдержанно топорщили перья, желтые их глаза наливались краснотой, балобан хитро смотрел в сторону, жадная ворона – как будто у нее отнимали последний кус жратвы – широко отворяла клюв.

И тогда наступало время действий.

Подхорунжий хватал со стола едва оперившегося ястребиного птенца и сажал его на картонные крылышки японского журавля.

Вентиляторный ветер раскачивал птенца и картонку. Ястребы теперь только и ждали команды (пожирать сородичей – было их любимым делом.) Балобан устанавливал красивую свою голову прямо. А хитрая подсадная ворона, которой, по ее собственным предчувствиям, жить оставалось всего ничего (но которая этим «ничем», отчего-то страшно дорожила), понимая: ястребиный птенец не для нее, опрометью убегала под стол.

Однако команды – а она всегда подавалась свистом – подхорунжий не давал.

Чуть погодя он прятал птенца за пазуху и сдергивал с веревочки картонного журавля. Ястребы, нахохлившись, засыпали.

Ровно через десять минут подхорунжий их будил (балобана будить не приходилось, он только притворялся спящим), и все начиналось сначала...

Были и другие способы тренировки птиц, были приемы их непрерывного обучения. Но чаще всего подхорунжий ограничивался одним: уже на природе, в Тайницком саду, в строго определенном месте он прятал привязанную за ногу галку в нижних ветвях дерева и выпускал на нее канюка или балобана. А ястребов – всех по очереди – держал в руках, заставляя на атаку смотреть.

Ястребы дрожали от гнева и раскрывали клювы. Подхорунжий, сожалея о жестокостях тренировки, доводил их до белого каления...

Наконец, ястребы, устав от гнева, от охотничьих дел отстранялись. Тут подхорунжий их по очереди и выпускал! И сразу вслед за этим – начинал сам себя чувствовать птицей.

Человек-птица! Сказать – легко. Но вот стать человеком-птицей – ох, как непросто.

И все же подхорунжий Ходынин (по собственному своему ощущению) неотступно и безостановочно в птичью сторону продвигался...

Не догадываясь о делах подхорунжего и ничего не зная о Витиных бесчинствах, Симметрия как раз подошла к служебному помещению и спросила подполковника Ходынина. Не дожидаясь ответа, она мило караульному офицеру улыбнулась, а потом, приложив пальчик к коралловым губкам, вошла внутрь.

Благополучно миновав караульного и дверь, Сима остановилась, огляделась, распахнула шубку, поддержнула, как могла, высоко юбку, растянула две пуговицы на новень-

кой прозрачной блузке. Последним движением разбросав прекрасные светло-каштановые волосы по воротнику белой шубки, Сима толкнула тяжеленную дверь во втором этаже...

Из нагловатой и неловкой поспешности вышла высокая любовная сцена.

Именно так Симметрия, накидывая через полчаса шубку на голое тело и собираясь продолжать в том же духе до полного окончания рабочего дня, подполковнику и сказала.

– Ты использовал меня, как плантатор, – проговорила Сима, посылая Ходынину воздушный поцелуй. – Чего клюв опустил? Ты ведь птица: летай и долби, летай и долби!

Подхорунжий вздрогнул. Он и впрямь в эти минуты снова почувствовал себя птицей. Симино попадание вышло болезненным. Подхорунжему стало не по себе.

Мускулистый, как плакат, в синих гамашах, изрисованных сердечками, Ходынин стоял вполоборота к окнам-бойницам и грустил. Свет в окнах-бойницах помалу гас.

Вдруг выглянуло солнце. Самого солнца видно, конечно, не было. Просто в одну из бойниц попал косой солнечный луч. В луче загорелся птенец: печальный, с полуопущенными крыльями, уставший долбить черепашку.

Луч осветил и самого Ходынина. Из подмышки у него торчало птичье некрупное перо. По небритой щеке стекала слеза. Внезапная судорога прoderнула лицо так, что Симметрия запахла шубку.

Она уже собиралась сказать: «Ну, извини, если что не так...»

Но Ходынин Симу опередил.

– Любовь – это смерть, – сказал он. – Все, что рождается, требует смерти того, что уже существует. Яростно и неотступно требует! Настоящая любовь, лапа, – это настоящая, прекрасная смерть. А значит – и настоящая жизнь. Мне жаль, что я сегодня не умер. Потому что, если я не умер, если не перешел к вечной жизни, значит, и любовь была – так себе...

– Сейчас ты умрешь, – не дала ему закончить Сима и, скинув шубку на пол, стала разглаживать мягкую шерсть сперва босой ступней, потом двумя локотками...

16

Выглянувшее на минуту солнце снова зашло. Однако Царь-пушка все равно глядела задорно, весело.

Без предисловий и боясь остановиться, Пигусов стал выкрикивать не вызубренный, не отрепетированный, а какой-то совершенно новый текст:

– Вороны и вороны! Передо мной – Москва! – кричал Витя. – Под моим каблуком – она же! Я – настоящий Наполеон, а не какой-то там актеришко! Вороны и вороны! Вы непригодны для супа. Для императорского супа, я имею в виду. Поэтому зрители такого супа отведать и не смогут. Люди и нелюди! Бандиты и бандюганы! Скоро я сварю вам другой суп: круче щей и борщей. И когда вы хлебнете нового наполеон-супа, то сразу поймете разницу! Ешьте и понимайте: я не захватчик, я – освободитель! Освободитель – ваших желудков и кишечников. Освободитель ваших инстинктов и рефлексов...

Я освобождаю свободу от принципов. А принципы от свободы. Я – вы! Я – все! Мне не жаль моего тела – жрите! Мне не жаль моей крови – пейте ведрами! Только раскрепощайтесь, преображайтесь!

В толпе загалдели.

Витя принял галдеж за рокот одобрения и продолжил:

– Пробудитесь от медвежьей спячки! Уразумейте, что я вам сказал. Иначе что же у нас с вами получится? Я-то могу уйти... А вот они, – Витя горьковато рассмеялся и, смеясь, указал рукой куда-то на северо-запад, – а вот они уйти не желают! Ну, тогда и я, Наполеон Бонапарт, останусь с вами!

Здесь Пигусов сделал паузу, ожидая выкриков: «Да!», «Оставайся!», «Vivat!», «Не хотят уходить кровососы!..»

Сингапурцы с итальянцами беззвучно жевали вечерний воздух. Отечественные – томились.

Витя вышел из себя:

Je suis l'Empire a la fin de decadence!..

Я римский мир периода упадка... —

тут же перевел он вибрирующим от страсти голосом стихи великого французского поэта. И вдруг ни к селу ни к городу добавил, уточняя и дополняя смысл французских стихов:

Но я не Горбачев – на дне осадка!

Тут Витя засомневался: а те ли стихи? Может, прочесть другие?

Он даже на миг прикрыл глаза.

В голову сразу же вскочила удачная – да что там удачная! – в голову ему вскочила гениальная речуха, произнесенная не так давно в городе Питере.

Было – год назад.

Во время театрального концерта-капустника, случившегося незадолго до окончания гастролей одной из московских антреприз (Витю пригласили на замену и заодно присмотреться), он, подученный одним с виду очень приличным петербуржцем, вместо полагавшихся по сценарию стишков кого-то из современных прочел из Пушкина:

*Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги – понимаю,
Другой за то, что был француз...*

Читая второе четверостишие, подстрекаемый из-за кулис отважными жестами все того же приличного петербуржца, Витя трижды указал рукой на царскую ложу, полную значительных, отвечающих в городе за порядок и нравственность лиц:

*Клеон – умом ее стращая,
Дамис – за то, что нежно пел.
Скажи теперь, мой друг Аглая,
За что твой муж тебя имел?*

От сочувственных рукоплесканий и хохота зал разломало надвое.

Сочувствовали классикам литературы, вообще всем обманутым мужикам – дружно, горячо.

Но были и несочувствующие.

Одной из находившихся в царской ложе очень ответственных (и очень красивых!) дам, к несчастью, тоже звавшейся Аглаей, стало дурно. Со стула она рухнула прямо на пол.

Витю, не дожидаясь конца гастролей, поперли: сначала из Питера, а потом из антрепризы.

Но ведь успех был налицо! Значит, и теперь – все закончится успехом.

Срываясь на фальцет, Витя крикнул:

– Я не стихи сюда явился читать! Сейчас я... Сейчас я на вас выпущу птицу! Зверь, – не птица... Она вам головы продолбит! До мозгов ваших разжиженных докложется. Вы – падаль! А птица, она...

Витя полез в рюкзак.

Однако довершить начатое ему не дали.

Возмущенные сингхи и сингалезы, некоторые из итало-испанских бандитов и очутившаяся тут как тут заполошенная московская семейка (в составе Серьги, Сигаретки и трех шустрых ребятенок) сволокли Витю с громадного ядра, на которое он в конце речи сумел-таки взгромоздиться, и стали, отталкивая друг друга, неумело, а стало быть, и не больно пинать его в бока.

– Да рази ж так следует? – покрикивал елейно у Вити над самым ухом кто-то из отечественных бандитов. – Каблучком ему в морду, каблучком, каблучищем!

Здесь – снова неприятность: краем глаза Витя зацепил все тех же московских детей. Они опять с непонятной настырностью подбирались к немаленькому, – а если правду сказать, просто-таки толстоватому – Витиному задку.

Лосины вмиг были содраны. Холодок прикоснулся к белой – белей и подмосковных, и владимирских снегов – Витиной заднице.

Тут московских детей оттеснили в сторону, и два рыночных амбала, шепотом матерясь, поволокли Витю из Кремля вон.

– Давай, детушки, давай, ребятушки! За ворота его, живей! – наставлял все тот же елейный, – выкиньте его вон отсюда! Но потихоньку, без огласки... Поздней с им разберемся! И сумку евонную не позабудьте...

Витя пришел в себя только на Васильевском спуске. По дороге его легонько поколачивали по почкам, но потом бросили, отстали. Теперь ныла спина. С плеч падала косо накинутая кремовая воловья шкура, про которую Витя в горячке совсем позабыл.

Идти домой не хотелось. Голова мерзла, но это было даже приятно: чувства поостыли, мысли постепенно выстроились в линию.

Пигусов повернул к Яузским воротам, тихо побрел в сторону бывшего Хитрова рынка. Невдалеке блеснула Яуза...

– Вона, где он! Вона! – послышался сзади минут через двадцать елейный голос. – А ну, посыпь его перушками...

Два амбала вмиг сдернули с плеча Витин рюкзак, скинули на снег воловью шкуру, а потом, на нее же Витю и уложив, натрусили сверху крупных, из какой-то вонючей торбы вынутых гусиных перьев.

– Деготком бы его теперь! Деготком – и в речку! Но не добыть дегтя. Весь деготь извела под корень сволочь закордонная... – сокрушался елейноголосый.

Был елейный похож на монашка. Но был в приличном полушубке, в драповых, в елку, штанах, без рясы и без скуфейки.

«Беспоповец, что ли, какой?..» – невпопад подумал Витя, и тут же по слежавшемуся московскому снегу его поволокли вниз.

К Яузе Витю спустили на собственной воловьей шкуре – быстро, ловко.

– Раза три окуните, да там и бросьте! – поучал откуда-то сверху беспоповец.

Так и сделали. Подволокли к полынье: окунули – вынули, окунули – вынули, окунули...

Палящий холод не испугал, взбодрил. Одно было плохо: амбалы, смеясь, стали уходить, а Витя все барахтался в полынье...

– А с рюкзаком чего? – долетело слабовато до Вити.

– Дай-ка гляну... Фу! Хичник... Гадкая, негодная птица! Ни в суп ее, ни с картошечкой...

– Тогда выпускать?

– А куда ты ее в городе выпустишь? Пускай человеку послужит, пускай пользу принесет, – «елейный» залился смехом. – Оно ведь – на вкус и цвет товарища нет. Авось кому понравится... Трактирчик тут один есть – туда и продадим. Может, кто для увеселения души хичника на углях прижарит... А может, в общую похлебку для вкусу кинут!

От негодования Витя захлебнулся солоноватой яузской водой и пошел на дно.

Вслед ему – почти человеческим голосом – запричитал, заплакал пустынный канюк.

17

Ходынин о Витиных приключениях узнал быстро, сразу.

А вот Сима-Симметрия, раздосадованная выходками подхорунжего и потому давно его покинувшая, узнала обо всем только на следующий вечер в рок-кабачке.

Сима как раз наслаждалась группой «Адренохрон», когда подвалил Олежка Синкопа. Он подозрительно глянул на Симу и засопел. За время краткого, но бурного сожителства с Синкопой Сима его хорошо изучила и, чтобы развеять подозрения лысачка, сразу сказала:

– Такой гад этот Ходынин.

– А чего? – насторожился Олежка. – Обыкновенный ламер, слабак.

– Да в Кремль к нему никак не пробиться.

– А чего к нему пробиваться?

– Ну, посмотреть, чем он там дышит.

– А чего на его дыхание смотреть? Он же чайник, ламер!

– Ну ты тупило, Олежка. А может, он там, в Кремле, чем-то не тем занимается? Может, он вообще того... Ты слышал, как он тут подпевал по-английски?

– Лучше сама скажи: ты про Пигуса слыхала?

– При чем тут Пигус?

– В Кремле вчера безобразил. Может, как раз по наущению Ходыныча. А может, по чьему-нибудь еще...

Мысли Олежки вдруг переменились. Он кончил сопеть, на миг, как перед прыжком в воду, задержал дыхание и тут же, ни слова не говоря, кинулся, прихрамывая, в задние комнаты.

Туда, в задние, постоянных посетителей за отдельную плату пускали охотно: отдохнуть, расслабиться, то, се.

Но расслабляться Шерстневу было некогда. В задних – для виду обставленных по-конторски – комнатах он вырвал торчавшую из принтера бумагу с каким-то текстом, перевернул ее, сел за стол и без всяких предуведомительных охов-вздохов начал на оборотке писать:

«Подхорунжий Ходынин (бывший до 1999 года подполковником) дискредитирует власть и место, где служит, а именно: Художественный заповедник «Московский Кремль».

Три дня назад вышеназванный подполковник (сам себя без спросу разжаловавший в подхорунжие) прилюдно говорил: «Кремль у нас украли».

На вопрос: «Кто украл?» ответил дважды. Первый раз: «Мы – сами». А во второй – «Сами знаете кто».

Олежка подумал и добавил:

«Кроме того, Ходынин покровительствует рок-группе «Адренохрон». Утверждая во всеуслышание, что адренохрон отнюдь не наркотик, а вырабатывающийся в организме от слушания музыки позднейший фермент, он тем самым вводит в заблуждение молодежь...»

От негодования Олежка даже привскочил со стула.

«Ну, Змей-Ходыныч... Че вытворяет, гад!»

Гнев праведный работу притормозил. Слова и события непридуманные перемешались со словами и событиями придуманными. Олежка вдруг потерялся.

Спрятав листок в карман, он побежал за Симой.

Полгода назад они вдвоем уже составили – в шутку, конечно, – одну бумагу, про общего знакомого, обозвав того в сердцах педофилом и взяточдателем. С тех пор этот самый знакомый глаза им мозолить перестал...

– Чего я придумал... – зашептал Олежка в ухо Симе.

Сима сладко раскачивалась в такт музыке и отпихнула Олежку рукой.

– Чего!

Олежке тоже пришлось раскачиваться, это было неудобно, и тогда он кротно позвал:

– Сим, а Сим! Пойдем про Змея-Ходыныча письмоцо составим!

– А если узнает Ходыныч? Бо-бо Олежке сделает.

– Не узнает. Мы пока – черновое, а потом с чужой «железяки», с чужого компа, р-раз, – и отправим. Давай, скорей! Допрыгался наш Адренохрон Иваныч...

– Адренохрон, говоришь?

– Ну...

– Адренохрончик...

– Чего?!

– Адренохрен чмуев, я имела в виду.

– Это ты в точку!

Прошли в задние комнаты.

Однако вместо того, чтобы сесть за письмо, Олежка Синкопа стал тихо и злобно Симе выговаривать. Выговаривалось текстом рок-песни. *«Ты выходишь опять, – шипел Олежка, – На ночную работу./ Я иду за тобой/ Как послушный клиент./ Ты стоишь у дверей /Освещенного дота,/ И уводит тебя /Пожилый претендент».*

– Ты думаешь, так будет? – крикнул Олежка. – Я тебе покажу дот! Я тебе покажу пожилого клиента!

– А это мы еще поглядим, кто кому и чего покажет, – шепнула в легчайшие свои усики добрая Сима и добавила громко: – Не учил бы ты, Синкопа, мать – давать!

18

«Мир красив. Человек гадок. Иногда наоборот: человек красив – гадок мир.

И прежде всего гадок мир власти. Хочешь сменить власть? Смени музыку!» – совершенно неожиданно заключил про себя Ходынин, но сразу и осекся.

Чтобы не говорить лишнего – он стал петь.

Пелось о смене музыки, о неотступной желательности такой смены, пелось на улице, пелось на площадях, пелось в Кремле.

Подхорунжий пел про пустынного канюка и про любовь, про амурские волны и про запаздывающую весну, которая хотела, но никак не могла начаться. Чтобы пение было загадочней, он добавлял к нему старославянских, иногда – английских слов.

Ни про Симу-Симметрию, ни про Олежку Синкопу в минуты пения подхорунжий не думал.

А думал он – кончив петь – про Тайницкий Сад.

Причем не про тот Тайницкий, что располагался в южной части Московского Кремля, являлся режимной зоной и был закрыт для обычных посетителей.

Нет!

Подхорунжий думал про Тайницкий Сад, расположенный в Небесном Кремле.

Был такой Сад Небесный! И Кремль Небесный – тоже был.

Был этот Кремль Небесный каким-то непревзойденным архитектором в виде громадных прозрачных ящиков, с острыми башенными верхами, прямо над реальным Тайницким садом спроектирован и воздвигнут.

Семь или восемь таких громадных прозрачных ящиков и составляли многоуровневую крепость Небесного Кремля.

Каждый из громадных стеклянных ящиков – и это становилось ясно сразу – то раздвигался по воле тех, кто на них смотрел, вширь и ввысь без всяких ограничений, до размеров Вселенной, то сжимался до размеров давно вырубленного, но в надмосковских пространствах все еще тихо поющего кремлевского бора.

Воздух и тончайшее стекло – мягче кожи, прозрачнее самого воздуха – вот из чего неведомый архитектор сотворил самый ближний и пока единственно Ходынину доступный – Небесный Тайницкий Сад.

Кремль Небесный поразил Ходынина сразу, поразил навсегда!

Вскоре выяснились про Небесный Кремль и чуть более мелкие, прозаические, но весьма любопытные подробности.

Дойдя по ступеням самой стройной и самой гармоничной из кремлевских башен – Беклемишевской – до самого ее верха, можно было, отворив небольшую железную дверь, зацепиться за некий воздушный поток, который на самом деле был не чем иным, как прозрачным правительственным лифтом с прямой доставкой на небеса.

Лифт правительственный, лифт небесный!

Дважды – ранним утром и поздним вечером – взмывал он наверх и подолгу не возвращался. Причем кто-то во время этих отправок всегда в лифте присутствовал. Но разобрать, кто бы такой это мог быть, из-за все той же зыбкости и прозрачности, не представлялось возможным.

Одно Ходынину было ясно как божий день: нет лифту охоты возвращаться назад! А раз нет охоты – стало быть, великолепно наверху и сладостно. Куда лучше, чем в нынешней, разоренной пустыми реформами и нелепыми планами, и лишь сверху приятно выкрашенной, Москве!

Правда, во всеуслышание объявить народу (который в мыслях Ходынин любил и даже обожал) о правительственном лифте, следующем прямиком в Небесный Сад, нечего было и думать: в пять минут оборвут все стропы!

Ясно было и другое: платных посетителей – всяких там туристов, а также тихо шпионящих газетных совушек и тупо стучащих интернет-дятлов – в Сад Небесный пускать тоже нельзя.

Что оставалось? Одинокое наблюдение, строгий молчок.

Одиночество подхорунжего не пугало. Вынужденное молчание и отсутствие полных выскazyваний – тоже.

Тем более что в последние недели Ходынин стал замечать: его внутренний мир становится все более ощутимой реальностью. А вот мир внешний (все ясней, все определенной) становится чьей-то оплошностью, становится ошибкой и выдумкой!

«Ну так пускай внешнее – внешней разведке и достанется», – шутил про себя на этот счет подхорунжий.

19

Дивных происшествий и чудес в Тайницком Небесном Саду случалось не так чтобы много. Скромно в нем было и пустовато. А то, что случалось, не только пересказать – иногда и заметить было трудно.

Но все же кое-что замечалось. И прежде всего то, что походило на жизнь земную или из нее – с большей или меньшей вероятностью – вытекало...

Брали на караул херувимы в камуфляже.

Чуть завистливо, при вспышках голубовато-белых снопов огня, ощупывали друг у друга генеральские лампы архангелы.

Кланялись куда-то вдаль серафимы.

При этом – и архангелы, и херувимы, и серафимы с робостью и почтением бросали взгляды на небесный парламент, думавший думу на высоком холме, в тенистом винограде, за легонькими камышовыми оградками, в приятных, умеренно пышных бунгало.

Бунгало были понатыканы меж холмами, меж деревьями и во всяких других притягательных местах – аж до самого горизонта.

Такая бунгализация Небесного Тайницкого Сада подхорунжему не нравилась. Но поде- лать он ничего не мог: не закрывать же, в самом деле, глаза из-за тропических этих хижин!

Еще летали и плавали в воздухе неопознанные предметы и явления.

Явления шумели, переливались, но определенного вида не имели, слову и мысли не поддавались.

Кроме неопознанных находились в Саду явления и предметы, вызывающие в обычной жизни зависть, вожделение и восторг.

Так, проплыла разок-другой по небесным водам яхта Романа Абрамовича с полупро- зрачными и видно, что безгрешными – пронцаемыми взглядом до самых до кишок – живыми душами на борту.

Горячо и бессмысленно утюжил воздушные холмы танк Бориса Ельцина.

Танк давил тяжелыми гусеницами зевачий люд и распугивал выхлопами не крупную комариную сволочь. Правда, раздавленные зеваки тут же бодро вскакивали и махали танку вслед еловыми лапами. А не крупная комариная сволочь (соколятнику Ходынину особенно ненавистная) от разрозненного зудения и писка вдруг переходила к стройному, единому хору.

Хор пищал невыносимо торжественно!..

Среди холмов и бунгало удобно расположились раскупоренные бочки с черной икрой.

Бочки эти Ходынина радовали страшно! Потому как никто икру ртом, как насосом, в себя не втягивал, ладошками, по-детски, из бочек не черпал, зернистую синеву, давясь от смеха и слез, по мордасам не размазывал.

Чуть в отдалении от бочек медленной малозумной рекой стекал с холмов при- зрачно-зеленый небесный мед. Изредка к медовой реке подступало небесное воинство, до краев наполняло помятые стальные каски и разрубленные пополам космошлемы...

А в остальном все было, как на земле: только сподобистей, чище.

Были, конечно, и неожиданности.

К примеру, сильно впечатлила подхорунжего живая картинка: Василий Третий обни- мает казенного им боярского сына Беклемишева-Берсень. (Чье подворье в давние времена близ Беклемишевской кремлевской башни как раз и располагалось.)

Василий Третий радовался встрече, как ребенок.

Боярский сын, Иван Никитич Беклемишев-Берсень, был скорее печален.

Но и царская радость, и боярская печаль были делом привычным, ожидаемым! Сперва казнил – потом помирились. И казнящему лафа, и казнимый (делать-то нечего: прощать, так прощать) хоть и внутри себя, хоть и сохраняя печальный вид, а радуется!

А вот действительно неожиданным было то, что источавшее скрытое матовое сиянье небесное воинство, приоткрыв рты, шумно и беспрерывно, подобно птенцам, втягивало в себя воздух.

Вскоре стало ясно: именно воздух служит воинству пищей!

Не сказать, чтобы такая пища воинству нравилась. Но и явного недовольства почти никто не выказывал.

Неожиданным было и то, что в Саду Небесном обретались все больше воины охранно-розыскных структур: воины ГУИН, воины прокурорские, полицейско-милицейские, воины налоговой службы, президентской охраны и некоторые другие.

Одни были в форме. Другие – без. Но и бесформенных воинов легко было отличить от штатских обитателей Небесного Сада. И не по выправке! По завидущим глазам, по каменным лицам, по четко отработанным тюремным жестам.

«Что ж это получается? Настоящих вояк уже и на небо брать перестали?» – спросил как-то раз сам себя Ходынин. Но вскоре о вопросе забыл – сосредоточился на напитках Небесного Кремля и Небесного Тайницкого Сада.

Напитком, удесятеряющим сладость забвенья, помогающим ничего не знать и не помнить, был не льющийся с холмов мед, а какой-то другой, бивший фонтанчиками прямо из небесной тверди напиток: синеватый, с запахом дыни и земляной груши, топинамбура.

При употреблении этого напитка сладкое беспамятство изображалось как на лицах переодетого в цивильное, так и на лицах непереодетого охранного воинства.

Ни горя, ни радостей прошлой жизни воины не помнили...

Однако самые таинственные дела творились в Саду с любовью!

Женщин вокруг не было, толстобедрых мальчиков – тем паче.

Но невидимая любовь ощущалась ярко, пламенно!

После первых – еще прикидочных – проникновений в Небесный Кремль эта непроясненка с любовью стала занимать Ходынина сильнее всего.

«Из чего она тут возникает? Кому эта любовь предназначается? Херувимам и серафимам? Невероятно! Архангелам великолепным? Опять нет. К самому Господу Богу эта летучая любовь ручейками и потоками направляется?..»

Так ничего с любовью и не решив, недоумевая и восхищаясь, прислушивался и приглядывался Ходынин к Небесному Кремлю, к Небесному Тайницкому Саду.

Однажды подхорунжий задержался в Саду на ночь.

Захохотали вдали обезьяны. Замяукали небесные кошки. Где-то затрубил, как в иерихонскую трубу, слон-слоняра.

И вдруг зазвучала тихая, ни с какою земною не схожая, – музыка.

Ходынин сразу вспомнил: небесная музыка звучала внутри у него и раньше! Только он ее слабо улавливал. А вот теперь, ночью, когда глаза завидущие перестали на все подряд пялиться, руки загребушие все подряд хватать, нос любопытный все смачненькое обонять, услышал он эту музыку ясно.

Музыка была странновато-прекрасной. Правда, не совсем понятно было, на каких инструментах ее играют. Вроде слышались русские гусли, потом жестяная дудка (схожую с ней по звуку один из лабухов называл в рок-кабачке шотландским вистлом). А вслед за ними еще и какой-то синтезатор волновал потихоньку воздух Сада.

Но самое главное: параллельно инструментальной музыке – звучали мысли!

Мыслей таких раньше Ходынин не слышал никогда. Мысли не противоречили музыке, но и не иллюстрировали ее. А музыка, в свою очередь, эти влитые в слова мысли услужливо не сопровождала. До определенной поры они шли порознь, а потом – внезапно сливались.

Это слияние и порождало в Небесном Саду шум и шелест восторга. Слияние заставляло мяукать громадных кошек, заставляло всю живность (непонятно за какие заслуги взятую в Сад) чувствовать не алчбу и злость, а одну только любовь!

Любовь вечную, непостижимую. Не только продолжающую род! Продолжающую жизнь – помимо рода и вида. Жизнь новая, жизнь бессмертная, жизнь вне соитий, вне рода и вида ощущалась Ходыниным, прежде всего, как отделенное от всего окружающего существование ожившего воздуха, как бытие одухотворяемой небесной тверди: набитой под завязку прекрасными душами, очищенными от земной скверны, от праха...

«Только птиц не хватает в саду! – сокрушался время от времени подхорунжий. – Почему их не видно? Шум крыльев слышен, а самих птиц – нет как нет».

Но и про птиц он вскоре узнал.

Однажды, обмирая, опасаясь получить нагоняй или взбучку, влез подхорунжий на высоченную дику яблоню. С этой яблони в верхние части Небесного Сада, в один из великолепных стеклянных ящиков заглянуть и удалось...

Никаких птиц Ходынин сперва не увидел: пустые поля, сильно покрученная извивами мелкая речка, две-три ракиты, подсыхающая с одного боку ива...

Грустно и непонятно было в тот час на Небе!

Подхорунжий уже собрался было восвояси, когда почувствовал: ветерок пробирает. Ветер дунул еще раз, сильнее. Вслед за дуновением раздался звук: мировой, ураганный!

Звук был так страшен и силен, что подхорунжий с дикой яблони рухнул вниз, на траву. Слава богу, не покалечился. Лежа под яблоней, он внезапно понял: кричала птица. Понял вдруг и другое: именно голоса птиц смогут когда-нибудь заменить ему все: жажду любви, желание пить и есть, желание вспоминать.

Чуть оправившись от страха, подхорунжий попытался голос птицы мысленно воспроизвести. Но не смог.

Внезапно крик – еще страшней, еще беспощадней – раздался снова, и руки подхорунжего отломались от тела.

Новый крик – оторвало ноги.

Еще крик – и как те две половинки красно-желтого абрикоса, разломилась надвое голова.

Кричал – ворон!..

Что кричит мировой ворон, подхорунжий сообразил быстро, сразу...

Ворон кричал о всеобщей гибели. Но и о том, что ее можно и нужно избежать.

«Как, как?»

Подхорунжий попытался передвинуть свое расчлененное, не болящее, а как-то по-странному ноющее туловище ближе к рукам и ногам.

«Как тот боярский сын! Разъяли, четвертовали... Или его не четвертовали, а по-другому казнили? Как, как?»

Тут раздался ответный крик. Кричал, опять-таки, ворон, но другой.

Крик второго был далеким, слабым, но обещал многое: обещал завершение по порядку и в срок всех земных дел, обещал разъяснить все непонятное, что в мире происходит.

Сразу после второго крика тело подхорунжего обрело цельность: срослись без всякого шва половинки ходынинской головы, соединились левое и правое полушария мозга, руки воткнулись в плечевые суставы, ноги вросли в таз.

Не дожидаясь новых звуков и понимая: если мировой ворон крикнет еще раз, ему не жить – подхорунжий дополз до садового обрыва и без всякого небесного лифта всей тяжестью тела рухнул вниз...

20

Ходынин лежал на ступенях Беклемишевской башни Московского Кремля и, стараясь унять боль, считал звезды.

Звезд было мало. Но именно от их малочисленности боль в душе и теле смягчалась. Смягчало боль и созерцание самой гармоничной башни Кремля – Беклемишевской.

«На крови башни и храмы стоят дольше, лучше», – подумал подхорунжий.

Но тут же и перешел к мыслям, не дававшим ему покоя все последние недели и месяцы.

Ему казалось: никакой он не соколятник! А высокое, всем известное лицо, по воле судеб (в последние дни подшучивалось: «по воле рока») кинутое на дрессуру птиц. Кроме того, он ощущал в себе самом еще и некоторую игру космоса и природы: ведь душу высокого лица взяли и переместили в ходынинское тело, взяли и окунули в обычную, невластную жизнь – как раз для отвыкания от власти!

Впрочем, чувство властности и «высокости» скоро улетучивалось. И Ходынин с охотой возвращался к простым своим обязанностям: к обучению птиц, к отпугиванию галок и сов, к изготовлению необходимых для выучки ястребов птичьих чучел, к подготовке подсадных ворон, к вслушиванию в русский рок, к ожиданию встречи с «кельтской» девушкой...

Боль и тревога от падения на ступени Беклемишевской башни постепенно проходила. Боли и тревоги душевные – нет.

Кое-как доволокнувшись до своей «каморки», подхорунжий решил больше на Небо не взбираться.

21

Однако сразу прекратить посещения Тайницкого Небесного Сада подхорунжий Ходынин не смог.

Дело было вот в чем: все было в том Саду превосходно! Все бы, наверное, постепенно прояснилось, сделалось близким, своим. Ко всему, даже к карканью мирового ворона, можно бы притерпеться! Но...

Все было превосходно! Только Господь Бог в Небесный Тайницкий Сад никогда не заглядывал.

Подхорунжий и парады на небесах устраивал, и расширенные партийные заседания-спектакли (забыв о давнем обещании никогда к политическим партиям даже на пушечный выстрел не приближаться!) в новом формате проводил. На велотреках, на плоскостях наклонных сидели сотни и сотни бывших однопартийцев: «Всем хорошо, всех видно, но и каждый местом своим дорожит, боится на собственной заднице вниз по кривой съехать!»

В небесных спорткомплексах, у тихих фонтанов, среди невиданно мягких и сплошь розовых кустарников мысленно помещал он славных шимпанзе и туповатых павианов, начальников департаментов и директоров воскресных школ, лошадей и смиренных ишачков, взятых на Небо за тесное и безропотное сотрудничество с человеком...

Все вместе ожидали они явления Божия: «Вот, Господи, погляди на нас, смиренных, ничуть за время жизни на Земле не одичавших...»

Впустую! Господь не являлся.

Зато прорвался однажды в Сад некий наглый субъект: Сатанаил Вельзевулович Чортишвиль.

Одетый с иголочки, с выпуклостями на лысостриженной голове, присыпанной летучим тальком, Чортишвиль представился и, потрогав усы-стрелочки, словно бы между прочим, на чистом русском языке попросил:

– А позвольте прикурить, господин военный казак!

– Не курю. И не казак я, – отрезал Ходынин.

– Вы б еще спели: «Теперь я турок, не казак!» А ведь знаете прекрасно: туркам сюда дорога заказана!

– Это еще почему?

– По кочану. Сразу видно: в национальном вопросе – вы ни бум-бум. То есть ничуть не волоките. Да и в церковных вопросах тоже, видать, не слишком...

– Не вам меня учить, – рассердился подхорунжий, – вон сколько херувимов и серафимов вокруг. Их буду слушать! Вы, вообще, кто? Черт?

– Ну, какие теперь черти, любезный! Были черти – да кончились. Несовременно, знаете ли, чертом быть. Теперь любой мутант – страшнее черта. И главное – понятней. Так что никому сейчас черти не страшны и не нужны. Лучше уж я для вас грузином или египтянином буду...

– Что грузин, что египтянин – один черт. Не мути, мутило! Сгинь отсюда!

– Ну, насчет сгинь, – это погодить придется... Вы вот что мне лучше ответьте: где они, ваши ангелы и херувимы? Где, я вас спрашиваю, охранное воинство? Куда подевалось? Вы стишок образца 1906 года помните? А вот он:

*Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится!
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.*

*Не топись, охранный воин, —
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен —
Старый гнет вернется...*

— Так там про Питер говорится, а тут — сад московский!
— Да вы повнимательней гляньте... Гляньте, как тут у нас с нетерпением старого гнета ждут!

Ходынин глянул на окрестности и душою умер.

Ни ангела! Ни херувимчика водоплавающего! Ни лесов, ни водопадов... Даже чертей — и тех не видно. Одна полиция и канувшая в прошлое милиция. А вокруг них — собачьи зайцы и обезьяны саблезубые. Да еще вперемежку с облаченными в новенькую форму полициями неодетые дамы. Дамы в крокодильи головы по плечи вбиты, шевелят, чем не надо, бесстыдно!

А тут еще выскочила и поперед крокодилистых, и поперед мили-пили — алая свинья. (То ли от природы, то ли для назидания выкрашенная в цвет, для копытных нехарактерный.)

Свинья стала носиться туда-сюда и рехать.

— Рёх-рёх-рёх, — редела алая!

— Ух-ты-бля! — отвечали ей мили-пили.

Реханья алой свинье показалось мало, и она стала рыть носом небесную твердь. Рыла, даже несмотря на то, что сквозь верхнюю губу ее было продето толстое сверкающее железное кольцо...

Мигом свиньей была вырыта яма. Не глубокая, но обширная.

Гонимые алой свиньей крокодилистые дамы трусой к этой яме и двинулись.

А тем временем комья земли — теперь уже сами по себе — стали лететь сильнее и сильнее, яма делалась глубже и глубже...

Тут на алую свинью вскочил верхом некий охранный воин.

Ходынин от неожиданности резко вздрогнул.

«Рокош? Старлей? Откуда он здесь, сволочь?!»

Смешение пород Ходынина ужаснуло. Алая (а местами грязно-розовая) свинья и всадник на ее спине довели до иступления.

Тихо дрожа, полез он к себе под мышку, за травматическим пистолетом.

Пистолет был прихвачен в Небесный Тайницкий Сад случайно.

Когда-то давно удалось под шумок пронести в Московский Кремль короткорылый бесшумный пугач. С тех пор подхорунжий травматiku эту с собой и таскал. Не для пальбы, конечно, а так, на всяк про всяк...

— ... И пукалку свою можете в ж/ж себе засунуть. Иначе доложу кому следует, и вас сюда на воздушном лифте ни по какому членскому билету больше не пустят!.. Кстати, полудамочки и полузверушки, что вас испугали... Так это как раз те, кто не осознал национального вопроса!

— И свинья алая? Она тоже не осознала?

— Свинья-то как раз осознала. Но с ней — другой грех... Да не желаете ли с ней поближе познакомиться? Умная такая свинья, интеллигентная... Может даже, спариться пожелаете? Будут бегать маленькие Ходынчики, ласково хрюкать: рех-рех-рех, рех-рех! Ну а сама свинья будет, конечно, рехать медленно, важно. А там, глядь, и частушку на завалинке под одобрение слушателей запоем: *Полюби меня свиньей/ Полюби навечно!/Очень крепко полюби/ И очень человечно...*

Подхорунжий отчаянно помотал головой и вторично полез за травматикой.

Тут Чортишвиль, понимая, что перегнул палку, сказал примирительно:

– Про спариванье – это я так, в шутку. А вот не желаете ли со мной в подпольное казино поглядеть? Тут совсем рядом...

– Нечего мне в казине твоем делать, – коверкая нежное иностранное слово, отрезал подхорунжий.

– Ну как знаете. Игра там жестокая, но решительная. То есть все трудности в один миг решить можно. Не пожалели бы после. Только бабло побеждает зло! Только оно, только оно!

– Сгинь, враг! Порешу!

Чортишвиль намотал на руку длинный полосатый галстук, завился винтом, скрыл себя в дебрях дикого леса. Но вскоре вернулся и, усевшись прямо против Ходынина, пожаловался:

– Устал что-то с вами. И голова разболелась.

Он выдернул из воздуха и водрузил на пудреную свою головку китайский прибор для улучшения мозговой деятельности, называемый «мурашка».

«Мурашка» торчала из темечка, как стальной рог, и сильно смешила Ходынина. Вдруг «мурашка» на голове у Чортишвиля сама собой задвигалась. Вельзевулычу враз полегчало, мозговая деятельность улучшилась, и он поманил Ходынина еще раз:

– Может... того? А? Без всякой нудятины, без раздумий? Разок – на черное? То есть я хотел сказать: на судьбу свою не желаете ли однократно поставить? Или судьба ваша – красная? Так вы не затрудняйтесь признаться. Здесь – можно. На красное – так на красное. Угадаете цвет – сказочная судьба ждет вас! Какие там Путин с Абрамовичем – неслыханные удовольствия иметь будете. И очень, очень длительное время. Русским Мафусаилом станете. Ну, идет?

– Я те Горбачев какой-нибудь? – окончательно рассвирепел Ходынин.

И в самом-то деле! Не для того подхорунжий устраивал Небесный Кремль, чтобы какой-нибудь Чортишвиль по нему свободно шлялся! И не для того, чтобы выслушивать белиберду про Путина с Абрамовичем.

Изловчась, Ходынин из травматического пистолета, предназначенного для надоедливых кремлевских галок, дважды пальнул вверх и один раз в грудь Чортишвилю...

Чортишвиль провалился, исчез.

(То есть надо понимать так: был Чортишвиль подхорунжим из Небесного Сада на какой-то определенный срок низвергнут. За что подхорунжему – отдельное спасибо!)

Ходынин же, назвав себя за беспечность олухом царя небесного, продолжил ожидание явления Божия.

И один раз нечто схожее с таким явлением произошло!

22

Случилось так.

Как-то ненароком подхорунжий попал на Всемирный казачий круг, организованный в Тайницком Небесном Саду по поводу какой-то даты. Круг включал в себя и донцов, и амурских, и семиреченских, и астраханских казаков. И терских, и ставропольских, не так давно на Кавказе порезанных. Ну и, конечно, включал Круг черноморское казачество, как, впрочем, и несправедливо отторгнутых от русской истории запорожцев с некрасовцами.

Здесь уж никакой «чортишвилизации» действительности не наблюдалось!

На кругу, впереди казачьего войска, на дочиста отмытых соловых кобылах восседали атаман Платов и командарм Миронов. Платов был при параде, Миронов – по-простому и налегке: в расстегнутой гимнастерке, а под ней – косоворотка застиранная.

Оба бодрились и горланили всяческую кавалерийскую ересь, пока кто-то ласково на них со стороны не прикрикнул.

Тут атаман и командарм заговорили о высоком.

– Лейба Троцкий? – мечтательно спросил атаман, указывая на громадную неровную дыру в груди командарма. – За пожизненное дворянство вам отомстил?

– Ни-ни-ни, и не мечтайте, атаман! Не потрафлю. Свои постарались.

– Я, впрочем, так и думал! – ужасно развеселился Платов. – Ежели свои на небо не спровадят, так ведь больше и некому. Но грустить отнюдь не советую. Раньше взошли – больше возможностей, Филипп Козмич.

– В смысле: раньше сядешь – раньше выйдешь?

– Нет-с. Здесь как раз наоборот! Раньше взошли – дольше пребывать станете.

– Грустно здесь, – признался командарм-2. – А отчего – сам не пойму.

Чернобородый и толстоусый Миронов по-детски улыбнулся, прикрыл ладошкой зияющую в груди дыру.

– Ну это как раз понять легко! Нет доблестных сражений. Соберут раз в сто лет, похвалят амуницию – и томись без хорошей драки.

– Нет. Грустно мне от подлостей человеческих и от доносов, Матвей Иванович! Вот вас, при Павле Первом оклеветали, в Кострому запроторили. А на меня Троцкий с Лениным взъелись. Да и сейчас, как стало мне известно, – ряд исторических доносов у нас в России готовится!

– Не вижу причин грустить. А с доносителями мы еще посчитаемся...

– Вам вполне можно в веселии пребывать. Англичане корабль вашим именем назвали. Оксфордским дипломом отметили. С речами выступать звали... А у меня – ни диплома, ни ораторского дара. Хочется иногда нечто прекрасное в харю толпе крикнуть. К примеру: «Донцы! Сколько эти безобразия терпеть позволять будете!..» Нет, не то... Чья-то чужая речь из меня наружу – так и прет, так и прет...

– Нашли о чем печалиться, об ораторском даре! Вот хотя бы этот ваш Троцкий, этот фармацевт, в военный мундир обутой... Ему здесь, у нас, и ораторский дар не помог... Что ораторствовать, ежели свежей мысли нет? Тут у нас краснобаям не больно верят. А что до англичан... Бивать мне их, и правда, не приходилось! Вот они меня Оксфордом и наградили. Но как старожил здешних мест скажу вам... Да вы, командарм, сюда извольте глянуть!

Платов повел рукой. Шитый изумрудами и продернутый золотой нитью рукав его мундира чудесно шевельнулся.

И сразу в той стороне, куда махнул славный атаман, произошло нечто.

Разошлись строевым шагом в сторону елки, сосны и дикие яблони. А на их месте, на месте сада и леса, блеснула отвесная вода: озеро – не озеро, море – не море...

Словом, выкатилось, остро вспыхнуло и на миг замерло – громадное Ясное Око.

Око, впрочем, только угадывалось. Было оно столь велико, что радужки глаз в нем изгибались и вздрагивали семицветной дугой, какая по временам еще выскакивает после дождя в дальнем Подмоскowie...

Ясное Око глянуло на Казачий всемирный круг и затуманилось.

То есть вмиг на холмы, на леса, на Небесный Тайницкий Сад лег великий туман! Туман этот скрыл все выпуклости и неровности тверди небесной: от малого сучка – до ветки, до иголочки...

И тут переполнила Озеро-Око до краев, выкатилась и побежала весенней водой по холмам кристально-чистая, – но видно, что и пекучая – с легким кровавым отблеском слеза.

Слеза добежала до краев Тайницкого Сада. Из нее выросло новое, сразу давшее и лист, и цвет дерево. Туман исчез. Расступившиеся в стороны деревья сомкнули ряды.

Ясное Око тоже исчезло. Но осталось громадное озеро. Из озера начала вытекать река... По реке поплыли казацкие струи, и удалой казак Степан Тимофеевич с передовой лодочки что есть мочи заорал:

– Ослеп ты, ваше сиятельство, что ль? Не казаки вокруг тебя – бабы переодетые! Кроме Филиппа Козмича, все чисто – бабы!

– Какие бабы, Степан Тимофеич? О чем ты шепчешь? – отбивался нехотя Платов.

– А вот какие! Раз не могут казаки в царстве-государстве устроить порядок – стало быть, не казаки они, а бабы! А ну, братва, запевай!

Но братва в стругах отчего-то медлила, петь не хотела.

И тогда выступил вперед и проговорил песню навзрыд пеший ординарец Миронова:

*Квасный мавшав Вовошилов, погляди
На казачьи богатые повки...*

– Ворошилов не казак! – крикнул страшным голосом Матвей Иванович Платов.

Круг казачий исчез...

Подхорунжий долгое время Божьей слезой, словами Степан Тимофеича и абсолютно неуместной на Небесах песней был смущен.

Еще больше смутили его строевые движения деревьев.

Не фантазия ли? И в мыслях у него такого – чтобы деревья ходили строем – не бывало!

Да и разговор атамана Платова с командармом Мироновым не слишком понравился. Не про то они должны были говорить! Не дырки в груди проверять, не валить все грехи на троцкизм-ленинизм да на Оксфорд! И конечно, не отворачиваться высокомерно от Степан Тимофеича...

Кроме того, не хотелось подхорунжему больше видеть алую свинью.

И еще пугал его дикий лес – буреломный, нечищенный, – начинавшийся сразу за Небесным Тайницким Садам.

Лес был страшен. В отличие от озера и других достопримечательностей – грозил он немедленной и вечной гибелью...

Испугавшись дикого леса, подхорунжий неосторожно дернулся и опять рухнул вниз.

Сперва ему показалось: он падает, паря как человек-птица. Но закончилось все полным обломом: болью, стоном, кровью...

Да и обнаружил себя Ходынин не на ступенях Беклемишевской башни!

Обнаружил – на заднем сиденье огромной, черной, стремительно и мягко бегущей по улицам Москвы машины.

Подхорунжий с кем-то разговаривал, отвечал на какие-то протокольные вопросы. При этом пребывал в диком смущении: машина-то бронированная...

Но главное – чувствовал он себя, летя по Москве, не в своей шкуре. Не его это была шкура, не его!..

Выскочив из Троицких ворот, головная машина и машины сопровождения летели по Воздвиженке. Где-то с боков опадали сигналы остановленных дэпээсовцами частных авто. Но эти звуки были словно из другой жизни.

Жизнь иная, еще более сладкая, чем в Небесном Тайницком Саду, вдруг целиком захватила подхорунжего! Жизнь человека, облеченного громадной, никому не подконтрольной властью...

Но и эта иная жизнь была вдруг нагло оборвана!

Машина, домчав подхорунжего до Крылатского, на одной из тихих улочек остановилась.

– Вылезай, хмырь! – грубо рявкнул какой-то высокий чин (без формы, но очень властный). – Не накатался иш-шо?..

Глубокая тоска охватила вылезающего из машины Ходынина.

Тоску и уныние подхорунжий презирал и ненавидел.

Потому что чувствовал: именно во время приступов тоски и уныния; именно в то время, когда нутро его пустеет, а душа улетает в лучшие края, именно в это время внутрь к нему, словно бы на постой, словно в охотничью пустую избушку поселяют для забав и отдыха чужую душу – душу страшно высокого, недоступного пониманию человека!

А потом душа эта высокая, душа нелюбимо-любимая, отдохнув внутри подхорунжего и порезвившись вместе с ходынинским телом в рок-кабачке, в «Школе птиц подхорунжего Ходынина» и в других приятных местах, уходила, куда ей надо.

Тело подхорунжего – как избушка на курьих ножках – на какое-то время пустело.

А вскоре возвращалась в эту человечью избушку из незримых стран и отдаленных мест – душа соколятника Ходынина!

И уплывала грусть-тоска, и жизнь начиналась заново!

Из-за всех этих происшествий (конечно, в первую голову из-за бронированной машины, мчавшей со скоростью 220 километров в час, но также из-за рок-избушки) проект

***«Тайницкий Сад Небесного Кремля:
план духовный и план физический»***

был на время подхорунжим Ходыниным остановлен.

Следовало немедленно заняться «Школой птиц»!

Правда, после Сада Небесного не очень-то и хотелось.

А чего хотелось? Хотелось спуститься в рок-кабачок, тихо взять за рога синюю кельтскую, напоминавшую небесные гусли арфу. Ну а после арфы нежно потрогать за соски, не какую-нибудь Симметрию – потрогать играющую на старинном кельтском инструменте девушку в сером платье с цветами...

22

Сима тоже любовалась на кельтов.

Только что они с Олежкой закончили печатно поносить Ходынина и вложили полное едко-смачных характеристик письмо в конверт.

Теперь Синкопа думал, как правильной надписать конверт и где его опустить.

Олежка думал, а Сима вспоминала примечательные слова из совместного их письма: «Гнилой рок и в особенности петербургские подпольные группы Ходынин пропагандирует как лучшее из лучших. Похваляясь, что предложит слова одного из черных русскоязычных блюзов партии «Любой ценой!» (как будущий гимн партии), он эту политическую организацию, без сомнения, дискредитирует».

Вдруг Синкопа дернулся из-за стола к выходу. Раннелысое Олежкино темечко засияло от будущей славы, словно его натерли полиролью. Водоросли, лежащие венком на затылке, приятно шевельнулись.

– Куда так поздно? – схватила за руку любопытная Сима.

– Знаем куда. Туда, где круглосуточно! Пус-сти, пус-с-с... – засипел нетерпеливый Олежка.

Олежка ускакал. Но и Сима не скучала.

Как раз заиграла новая рок-группа.

Мягко и вкрадчиво вступил перкашист, за ним посыпалась мелкая, но приятная гитарная дребедень, вслед за акустическими гитарами вступил грубоватый мужской бас, и Симу в себя втянул водоворот ее собственной памяти!

Сима громко вздохнула. Краем сознания она тоже любила кельтов и всяких шотландских ирландцев. Но твердо знала: открыто любить их в спортобществах и некоторых других хорошо структурированных организациях Москвы – нельзя. Заклюют!

Симметрия вздохнула повторно:

«Клёво поют... У меня так не получится... А тогда на фиг мне спортивная осанка?» – неожиданно подумала Сима и, прислушиваясь к своему нутру, тихо смолкла.

Однако через некоторое время внутри самой себя разговорила:

«Так ведь не все клёво поют. Сейчас лажуки из Конотопа или из Перми выйдут – такая рок-попса посыпется!...»

Сима обрадовалась. Плохого было много!

А значит, и сама она над этим плохим еще долгое время сможет возвышаться.

Сима прикрыла глаза и минут на сорок задремала...

Проскакал рысцей в задние комнаты что-то быстро вернувшийся Олежка.

Через минуту он прискакал обратно. На Олежке не было лица.

Он нервно взмахнул половинкой розового, разодранного пополам конверта, придвинул свой стул вплотную к Симиному, гневно булькая, заговорил:

– Я, блин, вот чего думаю... Мы ведь с тобой можем и без них... Без них, говорю, можем... Запустим все это в «Нэтик»...

Бульканье стихло, а шепота было не разобрать.

23

Полчаса назад Олежка Синкопа на собственной немытой «Шкоде» добрался до хорошо ему известной Приемной. Там, как он знал, принимали всегда: ночью и днем, в воскресенье и в праздники.

Предслыша славу рукоплесканий, он помахал перед дежурным розовым конвертом и вполголоса сообщил: «Очень надо».

Его проводили в просторный кабинет со столом и диваном, но без стульев.

Шевельнулась навстречу, но так и осталась сидеть на диване скрюченная фигура.

«Юзер-юзерок», – подумал про сидевшего Олежка, потоптался на месте и вдруг, захлебываясь и безостановочно, стал повествовать о бесчинствах Ходинина.

– Ну и? – был задан ему вопрос.

– Что – «ну и»? Вот – письмо. Сигнал же! Разоблачение! Написал – и сразу к вам. Мог бы по «емеле» послать... Но самое важное мне хотелось сказать устно...

Тут – непредвиденное.

Маленький, с уморительно мокрым лицом человек – впрочем, поворотливый, шустрый – вдруг подскочил к валяжному Олежке, вырвал у него из рук конверт, из конверта вытряхнул письмо, ловко на лету письмо поймал, смял, сжевал и, наслаждаясь хорошей австрийской бумагой, жеванное проглотил. Потом так же внезапно выблевал пережеванное назад, аккуратно носовым платочком подхватил, засунул Олежке в задний карман...

Лицо человека стало еще мокрей. Оно просто сочилось внутренней и внешней влагой: пот, слезы, жировые выделения, – все сразу выступило на уморительном этом лице!

Человек еще чуть подумал, разодрал пополам конверт, одну половинку взял себе, а другую с полупоклоном возвратил Олежке.

Минуту-другую отдохнув, прожорливая фээсбэшная тварь свой шизоидный вопрос повторила:

– Ну и?

Мысли Олежкины спутались.

– Да ведь я... Да как вы сме!.. Ходинин, он же в нерабочее время... И в рабочее – тоже... Он...

– Доносить, перец, дурно. Клепать на хороших людей, перец, последнее дело.

– Как это – последнее? А безопасность Москвы? А художественные ценности Кремля?... Да вы зайдите на любой сервак! Что юзерня творит!

– Кончай свой сисад-стеб. Без тебя все, что надо, раскумекаем. И хватит «вирусняк» к нам запускать, – прожорливая тварь чуть успокоилась, опять уселась на диван. – Как, говоришь, твоя фамилия?

– Шерстнев Алекс Олегович. А ваша, ваша как?! – крикнул, задыхаясь, Олежка.

– Моя фамилия Мутный, – равнодушно сообщил человек. – Егор Георгиевич. А твоя, стало быть, Шерстнев? Шерстнев, Шерстнев... – мокролицый задумался.

– Шерстнев Алекс Олегович, и я уже когда-то здесь... – обрадовался хоть какому-то пониманию Олежка, но запнулся, не зная, продолжать ли.

– Минуточку, Алекс, – слабо улыбнулся Мутный и вышел в общую приемную.

Через пять минут, вернувшись, он сел и закручинился. Но потом и кручину, и ставшую уже привычной сырость лица словно тряпочкой пообтер, еще равнодушной спросил:

– А Олежкой почему прозываетесь? Олежка Синкопа – так ведь вас называют?

– Рок-псевдоним, – схитрил Шерстнев, решивший не выдавать их с Симметрией игры в имена. (Когда-то давно они договорились звать друг друга не как на самом деле, а выдуманно.) – Я ведь еще и рокмен. Но так для дела даже лучше!

– «Синкопа – парень хоть куда: под утро – кол, в обед – звезда...» – процитировал Мутный задумчиво. Значит, говорите, и – туда, и – сюда? Необходимо проверить...

– Это Сима! Симметрия Кочкина! – не выдержал словесной пытки Олежка, – это все она, дура, придумала. И про Синкопу тоже... А мне что прикажете делать? Я ей за болтовню кренделей навешал, но хромать-то не перестал! Скажите им, чтобы не звали меня Синкопой...

На глазах у Олежки выступили слезы.

– Нога – полбеда. Ногу, пожалуй, и вылечить можно. А вот стишок – стишок останется...

– Дался вам этот стишок! Я интересную информацию доставил, а вы... Вы – ламер, слабак!

– Пошел на... – неожиданно сказал Мутный.

– Куда, куда? – Олежка не хотел задавать этого вопроса – язык сам собой лепетнул.

– Можете со своей сраной информацией возвращаться к себе в кабак. У нас и своей информации выше крыши, – уже строже добавил Егор Георгиевич.

И весело помахал на прощанье доставшейся ему половинкой конверта.

24

...стоит терем-теремок, он не низок – не высок, из трубы идет дымок, из окошек льется рок!

25

– И че тебе там сказали?
– Один дурак... Представляешь... Один мутный ослидзе...
– Мутный осел? Дикий крутяк... Ну и чего тебе мутный ослидзе сказал?
– Да нет... – совсем расстроился Олежка. – Мутный – это фамилия. И не грузин он вовсе. Это я так, для выразительности...

– Ну и че этот Мутный?
– Послал на три буквы...
– И ты, бедняжка, пошел?
– Ты у меня, дура, сама сейчас туда сходишь! – размахнулся для удара Олежка.
Но внезапно руку опустил, зашептал Симе в ухо что-то ласковое и завлекательное. Симметрия в ответ заговорщицки улыбнулась.

Тут грянул настоящий рок.
– Вот бы подполковник послушал! – лягнула мечтательно в паузе разгоряченная роком Сима.

И была за бабью свою болтливость тут же наказана.

Олежка приподнялся и наискосок, сверху вниз, врезал-таки Симе как следует.

– Мы на него новые данные готовим, а ты... яз-зыком м-молотиш-шь... – шипел и заикался от злости Синкопа, а потом в знак примирения целовал Симметрию в шею.

– Того и любишь – на кого доносишь! – Сима и не думала обижаться на Олежку. – Ты вот меня обожаешь, а сам написал левой рукой в институт Лесгафта, что я допинг на соревнованиях употребляла, и все такое прочее...

– Для тебя, дура, старался! Чтоб ты от спорта этого уродского отошла, – буркнул лысачок Олежка, однако сам себе не поверил. Ему вдруг стало понятно: все равно он будет доносить и докладывать! Даже если его бросит Сима, даже если его не выслушают в другом месте. Даже...

Больно ударившись коленкой о стул, Синкопа внезапно кинулся к выходу: на поиски другой круглосуточной приемной, на поиски новых – очень и очень широких – возможностей!

По дороге ему попался Ходынин. До ненависти обожаемый соколятник Синкопе приятно кивнул. Но и это Синкопу не остановило. Розовый обрывок конверта терзал душу половинчатостью. Незавершенность важного дела толкала к немедленным поступкам!..

Олежка кинулся по другому адресу.

Сима увела Ходынина в задние комнаты.

Музыка стала тише, потом совсем смолкла.

Сима называла Ходынина «пожилой претендент». Тот отвечал ей: «Не такой уж я и пожилой».

Вскоре стал слышен дубоватый скрип стола, полируемого голой Симиной грудью и время от времени согреваемого ее животом.

Сима – радовалась.

И больше всего ее радовал ощутимо присутствующий в глубине стола черновик их совместного с Олежкой письма. Было приятно прогибаться под Ходынычем и знать: листок с письмом здесь – тут, здесь – тут, здесь – тут!..

Вновь грянул рок. Надевая нижнее белье, Сима припомнила одну – и опять-таки музыкальную – историю.

История была радостно-позорной. То есть и радостной, и позорной одновременно.

Сима вспомнила, как в детстве ходила в школу при Мерзляковском музыкальном училище. Там ее сильно раздражал один педагог, кажется, Пумпянский. Сима пожаловалась завучу, что этот Пумпянский на уроках ее щиплет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.